ПОЛИТБЕСТ

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ
АЛЛЕН ДАЛЛЕС ГЕНРИ КИССИНДЖЕР

ОТ СТАЛИНА ДО БРЕЖНЕВА

ТРУДНЫЙ ДИАЛОГ С КРЕМЛЕВСКИМИ ВОЖДЯМИ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Авторы этой книги – виднейшие западные политики: Уинстон Черчилль – премьер-министр Великобритании в годы Второй мировой войны и после нее, часто вел переговоры со Сталиным, бывал в СССР; Аллен Даллес – крупнейший американский дипломат, разведчик, возглавлял ЦРУ в послевоенные годы, во многом определял политику США, когда в СССР правил Никита Хрущев; Генри Киссинджер, «патриарх американской дипломатии», был Государственным секретарем США в 1970-е годы, встречался с Леонидом Брежневым и вел с ним переговоры. В книге собраны воспоминания и размышления этих трех незаурядных политиков обо всех трудностях и «подводных камнях», которые были на нелегком пути построения отношений Запада с Москвой. Воспоминания наполнены многими подробностями, которые были известны только их авторам, и представляют собой уникальный источник по данной теме.

- Уинстон Черчилль, Аллен Даллес, Генри Киссинджер, Вилли Брандт
  - ○
  - ○ Уинстон Черчилль
    - ■ Война в России и проблема второго фронта
    - ■ Разговор со Сталиным в Москве
    - ■ Тегеранская конференция
    - ■ Восстание в Варшаве. Позиция Сталина
    - ■ Снова в Москве. Сталин не хочет уступать
    - ■ Встреча в Крыму. Судьбы мира
    - ■ Подозрения Сталина
    - ■ «Железный занавес»
  - ○ Аллен Даллес
    - ■ Карибский кризис
    - ■ На грани войны
  - ○ Вилли Брандт
    - ■ Несколько встреч с Брежневым
    - ■ Коленопреклонение в Варшаве
    - ■ «Пражская весна»
    - ■ Брежнев, Андропов, Горбачев
  - ○ Генри Киссинджер
    - ■ Берлинская стена для вьетнамской войны
    - ■ Вопрос о еврейской эмиграции из СССР
    - ■ Вопрос о правах человека
    - ■ «Доктрина Рейгана»

- Горбачев

Уинстон Черчилль, Аллен Даллес, Генри Киссинджер, Вилли Брандт От Сталина до Брежнева. Трудный диалог с кремлевскими вождями

© Черчилль У. (Churchil W.), Даллес А. (Dulles A.), Киссинджер Г. (Kissinger H.), правообладатели
© Перевод с английского
© ООО «ТД Алгоритм», 2018

* * *

Уинстон Черчилль

Трудные разговоры со Сталиным (из книги У. Черчилля «Вторая Мировая война»)

Война в России и проблема второго фронта

…Вторжение Гитлера в Россию изменило отношение военного времени. Тем не менее, советское правительство никак не откликнулось на мое обращение по радио к России и ко всему миру в день нападения Германии, если не считать того, что выдержки из него были напечатаны в «Правде» и в других русских правительственных органах и что нас попросили принять русскую военную миссию. Молчание в высших сферах было тягостным, и я счел своей обязанностью сломать лед.

Я вполне понимал, что они, возможно, испытывают неловкость, учитывая все, что произошло между Советским Союзом и западными союзниками после начала войны, и помня о том, что было 20 лет назад между мной и большевистским революционным правительством. Поэтому я обратился лично к Сталину и сообщил о нашем намерении помочь русскому народу всем, чем только мы можем.

«Премьер-министр Черчилль – премьеру Сталину.
8 июля 1941 года.

Мы все здесь очень рады тому, что русские армии оказывают такое сильное, смелое и мужественное сопротивление совершенно неспровоцированному и безжалостному вторжению нацистов. Храбрость и упорство советских солдат и народа вызывают всеобщее восхищение. Мы сделаем все, чтобы помочь Вам, поскольку это позволят время, географические условия и наши растущие ресурсы. Чем дольше будет продолжаться война, тем большую помощь мы сможем предоставить. Английские воздушные силы производят как днем, так и ночью большие налеты на все оккупированные Германией территории и на саму Германию в пределах досягаемости.

Около 400 самолетов совершали вчера дневные налеты по ту сторону моря. В субботу вечером более 200 тяжелых бомбардировщиков совершили налет на германские города. Некоторые из них несли бомбы по три тонны весом, а прошлой ночью в операциях участвовало около 250 тяжелых бомбардировщиков. Так будет и впредь. Мы надеемся таким путем заставить Гитлера вернуть часть своих военно-воздушных сил на запад и постепенно ослабить бремя, лежащее на Вашей стране. Кроме того, по моему желанию Адмиралтейство

подготовило серьезную операцию, которую оно предпримет в ближайшем будущем в Арктике, после чего, я надеюсь, будет установлен контакт между британскими и русскими военно-морскими силами. Тем временем в операциях у норвежских берегов мы перехватили различные транспортные пароходы, направлявшиеся на север против Вашей страны. Мы приветствуем прибытие русской военной миссии с целью согласования будущих планов.

Нам нужно лишь продолжать прилагать все усилия, чтобы вышибить дух из злодеев».

В ответ я получил следующее письмо:

«Премьер Сталин – премьер-министру Черчиллю.
18 июля 1941 года.

…Не сомневаюсь, что у наших государств найдется достаточно сил, чтобы, несмотря на все трудности, разбить нашего общего врага.

Может быть, не лишне будет сообщить Вам, что положение советских войск на фронте продолжает оставаться напряженным. Результаты неожиданного разрыва Гитлером пакта о ненападении и внезапного нападения на Советский Союз, создавшие для немецких войск выгодное положение, все еще сказываются на положении советских войск. Можно представить, что положение немецких войск было бы во много раз выгоднее, если бы советским войскам пришлось принять удар немецких войск не в районе Кишинева, Львова, Бреста, Белостока, Каунаса и Выборга, а в районе Одессы, Каменец-Подольска, Минска и окрестностей Ленинграда.

Мне кажется, далее, что военное положение Советского Союза, равно как и Великобритании, было бы значительно улучшено, если бы был создан фронт против Гитлера на Западе (Северная Франция) и на Севере (Арктика).

Фронт на севере Франции не только мог бы оттянуть силы Гитлера с Востока, но и сделал бы невозможным вторжение Гитлера в Англию. Создание такого фронта было бы популярным как в армии Великобритании, так и среди всего населения Южной Англии. Я представляю трудность создания такого фронта, но мне кажется, что, несмотря на трудности, его следовало бы создать не только ради нашего общего дела, но и ради интересов

самой Англии. Легче всего создать такой фронт именно теперь, когда силы Гитлера отвлечены на Восток и когда Гитлер еще не успел закрепить за собой занятые на Востоке позиции.

Еще легче создать фронт на Севере. Здесь потребуются только действия английских морских и воздушных сил без высадки войскового десанта, без высадки артиллерии. В этой операции примут участие советские сухопутные, морские и авиационные силы. Мы бы приветствовали, если бы Великобритания могла перебросить сюда около одной легкой дивизии или больше норвежских добровольцев, которых можно было бы перебросить в Северную Норвегию для повстанческих действий против немцев».

* * *

Я ответил письмом от 21 июля 1941 г.:

«Я был весьма рад получить Ваше послание и узнать из многих источников о доблестной борьбе и многочисленных сильных контратаках, при помощи которых русские военные силы защищают свою родную землю. Я вполне понимаю военные преимущества, которые Вам удалось приобрести тем, что Вы вынудили врага развернуть силы и вступить в боевые действия на выдвинутых вперед западных границах, чем была частично ослаблена сила его первоначального удара.

Все разумное и эффективное, что мы можем сделать для помощи Вам, будет сделано. Я прошу Вас, однако, иметь в виду ограничения, налагаемые на нас нашими ресурсами и нашим географическим положением. С первого дня германского нападения на Россию мы рассматривали возможность наступления на оккупированную Францию и на Нидерланды.

Начальники штабов не видят возможности сделать что-либо в таких размерах, чтобы это могло принести Вам хотя бы самую малую пользу. Только в одной Франции немцы располагают сорока дивизиями, и все побережье более года укреплялось с чисто германским усердием и ощетинилось орудиями, колючей проволокой, укрепленными огневыми точками и береговыми минами. Единственный участок, где мы могли бы иметь хотя бы временное превосходство в воздухе и обеспечить прикрытие самолетами-истребителями, – это участок от Дюнкерка до Булони. Здесь имеется сплошная цепь укреплений, причем десятки тяжелых орудий господствуют над подходами с моря,

многие из них могут вести огонь через пролив. Ночное время длится менее пяти часов, причем даже в этот период вся местность освещается прожекторами. Предпринять десант большими силами означало бы потерпеть кровопролитное поражение, а небольшие набеги повели бы лишь к неудачам и причинили бы гораздо больше вреда, чем пользы, нам обоим. Все кончилось бы так, что им не пришлось бы перебрасывать ни одной из частей с Ваших фронтов, или это кончилось бы раньше, чем они могли бы это сделать.

Вы должны иметь в виду, что более года мы вели борьбу совершенно одни и что, хотя наши ресурсы растут и отныне будут расти быстро, наши силы напряжены до крайности как в метрополии, так и на Среднем Востоке, на суше и в воздухе, а также что в связи с битвой за Атлантику, от исхода которой зависит наша жизнь, и в связи с проводкой всех наших конвоев, за которыми охотятся подводные лодки и самолеты «Фокке-Вульф», наши военно-морские силы, хотя они и велики, напряжены до крайнего предела.

Однако если говорить о какой-либо помощи, которую мы могли бы оказать быстро, то нам следует обратить наши взоры на Север. Военно-морской штаб в течение прошедших трех недель подготавливал операцию, которую должны провести самолеты, базирующиеся на авианосцы, против германских судов в Северной Норвегии и Финляндии, надеясь таким образом лишить врага возможности перевозить войска морем для нападения на Ваш фланг в Арктике. Мы обратились к Вашему Генеральному Штабу с просьбой удержать русские суда от плавания в известном районе между 28 июля и 2 августа, когда мы надеемся нанести удар. Во-вторых, мы направляем теперь же некоторое число крейсеров и эсминцев к Шпицбергену, откуда они будут иметь возможность совершать нападения на неприятельские пароходы сообща с Вашими военно-морскими силами. В-третьих, мы посылаем подводные лодки для перехвата германских транспортов вдоль арктического побережья, хотя при постоянном дневном свете такие операции особенно опасны. В-четвертых, мы посылаем минный заградитель с различными грузами в Архангельск. Это самое большое, что мы в силах сделать в настоящее время. Я хотел бы, чтобы можно было сделать больше. Умоляю Вас сохранить это в строжайшей тайне до того момента, когда мы сообщим Вам, что огласка не принесет вреда.

Норвежской легкой дивизии не существует, и было бы невозможно при постоянном дневном свете, не обеспечив заранее достаточного прикрытия со стороны самолетов-истребителей, высадить войска, будь то британские или русские, на занятую

немцами территорию. Мы познали горечь неудач в Намсосе в прошлом году и на Крите в этом году, пытаясь осуществить подобные операции.

Мы также изучаем в качестве дальнейшего шага возможность базирования на Мурманск нескольких эскадрилий британских самолетов-истребителей. Для этого понадобилось бы на первых порах партия зенитных орудий, кроме наземного личного состава и оборудования, а вслед за тем прибыли бы самолеты, причем некоторые из них могли бы подняться с авианосцев, а другие доставлялись бы в ящиках. Когда они обоснуются, наша эскадра из Шпицбергена могла бы, возможно, прибыть в Мурманск. Мы уверены, что, как только станет известно о присутствии наших военно-морских сил на Севере, немцы немедленно прибегнут к своему неизменному методу противопоставления нашим вооруженным силам крупных сил пикирующих бомбардировщиков, и поэтому необходимо действовать постепенно. На все это, однако, потребуется несколько недель.

Прошу предложить не колеблясь что-либо другое, о чем Вам придет мысль. Мы же в свою очередь будем тщательно искать другие способы нанести удар по нашему общему врагу».

* * *

На протяжении всей войны я всячески старался путем частого обмена личными телеграммами создать такие же дружественные отношения, какие сложились у меня с президентом Рузвельтом. За время этой длительной переписки с Москвой меня не раз осаживали и только изредка удостаивали добрым словом. Во многих случаях на мои телеграммы вовсе не отвечали или же ответ задерживался на много дней.

Советское правительство полагало, что русские оказывают нам огромную услугу, сражаясь в своей собственной стране за свою собственную жизнь. И чем дольше они сражались, тем в большем долгу они нас считали. Это была не беспристрастная точка зрения. Два или три раза за время этой длительной переписки мне приходилось протестовать в резких выражениях, в особенности против скверного обращения с нашими моряками, которые подвергались стольким опасностям, доставляя предметы снабжения войск в Мурманск и в Архангельск.

Кроме того, камнем преткновения являлась позиция России в отношении Польши. Нападение немцев на Россию не явилось неожиданностью для польских кругов за границей. Начиная с марта 1941 года польское правительство в Лондоне получало

сведения от польского подполья о сосредоточении германских войск на западных границах России. В случае войны неизбежно должны были произойти коренные перемены в отношениях между Советской Россией и польским правительством в эмиграции. Прежде всего встал бы вопрос о том, в какой мере могли бы быть пересмотрены относящиеся к Польше статьи пакта Молотова – Риббентропа, заключенного в августе 1939 года.

5 июля 1941 года в Лондоне при посредничестве Англии начались переговоры между двумя правительствами. Польшу представлял премьер-министр ее правительства в эмиграции генерал Сикорский, Россию – советский посол Майский. У поляков было две цели – добиться признания Советским правительством, что раздел Польши, учиненный Германией и Россией в 1939 году, является теперь недействительным, а также освобождения Россией всех польских военнопленных и гражданских лиц, вывезенных в Советский Союз после оккупации Россией восточных районов Польши.

Эти переговоры продолжались весь июль и происходили в атмосфере холодности. Русские упорно отказывались взять на себя какое-либо определенное обязательство, которое отвечало бы пожеланиям поляков. Россия считала, что вопрос о ее западных границах не подлежит обсуждению. Можно ли было положиться на то, что она честно поступит в этом вопросе, когда закончатся военные действия в Европе, – что произойдет, быть может, в отдаленном будущем?

Английское правительство с самого начала было поставлено перед дилеммой. Наше вступление в войну с Германией явилось прямым результатом наших гарантий Польше. Мы были обязаны поддерживать интересы нашего первого союзника. На этой стадии борьбы мы не могли признать законной оккупацию русскими польской территории в 1939 году. В это лето 1941 года, менее чем через две недели после того, как Россия оказалась на нашей стороне в борьбе против Германии, мы не могли заставить нашего нового союзника, очутившегося в большой опасности, отказаться хотя бы на бумаге от пограничных областей, которые он на протяжении ряда поколений считал жизненно важными для своей безопасности.

Положение было безвыходным. Вопрос о будущей судьбе польских территорий необходимо было отложить до лучших времен. На нас лежала неприятная обязанность рекомендовать генералу Сикорскому положиться на добросовестность Советского Союза при будущем урегулировании русско-польских отношений и не настаивать в данный момент на каких-либо письменных гарантиях относительно будущего.

30 июля, после многих ожесточенных споров, между польским и русским правительствами было достигнуто соглашение. Дипломатические отношения были восстановлены, и на русской территории должна была быть создана польская армия, подчиненная советскому Верховному Командованию. О границах не было упомянуто, если не считать общего заявления о том, что советско-германские договоры от 1939 года относительно территориальных изменений в Польше «утратили свою силу». В официальной ноте польскому правительству от 30 июля министр иностранных дел изложил нашу точку зрения:

«В связи с подписанием сегодня советско-польского соглашения я хочу воспользоваться случаем, чтобы поставить вас в известность, что в соответствии с условиями соглашения о взаимопомощи между Соединенным Королевством и Польшей от 25 августа 1939 года правительство его величества в Соединенном Королевстве не брало на себя никаких обязательств в отношении Союза Советских Социалистических Республик, которые затрагивали бы отношения между СССР и Польшей. Я хочу также заверить вас, что правительство его величества не признает никаких территориальных изменений, произведенных в Польше после августа 1939 года».

Иден процитировал эту ноту в тот же день в палате общин и добавил:

«В параграфе 1 советско-польского соглашения говорится, что Советское правительство признает утратившими силу советско-германские договоры 1939 года о территориальных изменениях в Польше. Позиция правительства его величества в этом вопросе была уже в общих чертах изложена премьер-министром в палате общин 5 сентября 1940 года, когда он заявил, что правительство его величества не намерено признавать какие-либо территориальные изменения, происшедшие без добровольного согласия заинтересованных сторон. Это относится и к тем территориальным изменениям, которые были произведены в Польше после августа 1939 года, о чем я соответственно уведомил польское правительство в своей официальной ноте».

Этим дело и кончилось. В течение осени поляки были заняты тяжелой задачей – собрать тех своих соплеменников, которым удалось выжить в концентрационных лагерях Советского Союза.

* * *

Мы приветствовали вступление России в войну, но немедленной пользы нам оно не принесло: более года после этого

Россия нам казалась обузой, а не подспорьем. Действительно, вступление русских в войну отвлекло немецкую авиацию от налетов на Великобританию и уменьшило угрозу вторжения. Оно значительно облегчило наше положение на Средиземном море.

Однако, с другой стороны, мы были вынуждены пойти на тяжелые жертвы и лишения. Мы только-только начали как следует вооружаться. Наши военные заводы наконец-то стали в больших количествах производить всевозможные виды вооружения. Наши армии в Египте и Ливии вели тяжелые бои и требовали вооружения самых последних образцов, прежде всего танков и самолетов. Английские армии, находившиеся в метрополии, с нетерпением ожидали давно обещанного современного, непрерывно усложнявшегося вооружения, и оно наконец-то стало поступать к ним в большом количестве.

И вот в этот самый момент мы были вынуждены поступиться очень значительным количеством нашего вооружения и жизненно важных материалов всевозможного рода, включая каучук и нефть. На нас пало бремя организации конвоев судов для перевозки английских и в еще большей степени американских поставок и доставки этих конвоев в Мурманск и Архангельск, несмотря на все опасности и тяготы плавания в этих арктических водах.

По мере того как наступала осень и приближался решающий кризис на русском фронте, советские требования к нам делались все более настойчивыми. Нам пришлось пойти на неприятный риск: поставить под удар свою собственную безопасность и свои планы ради нашего нового союзника – угрюмого, ворчливого, жадного и еще так недавно безразлично относившегося к тому, выживем мы или нет.

Тем не менее мы собрали максимум того, что было в наших силах, и согласились на переадресование очень значительной доли необходимых нам самим американских поставок ради того, чтобы внести эффективный вклад в дело обороны Советов. 28 августа я предложил своим коллегам направить в Москву лорда Бивербрука. Члены кабинета охотно согласились, чтобы он обсудил этот вопрос со Сталиным, а президент Рузвельт считал, что его хорошо сможет представлять Гарриман.

Поэтому я информировал лорда Бивербрука:

«Премьер-министр – лорду Бивербруку.

30 августа 1941 года.

Я хочу, чтобы вы отправились в Москву вместе с Гарриманом, чтобы договориться о долгосрочных поставках русским армиям. Это можно осуществить почти исключительно за счет американских ресурсов, хотя у нас имеется каучук, сапоги и т. д. Необходимо сделать большой новый заказ в Соединенных

Штатах. Темпы поставок, разумеется, лимитируются портами и недостатком судов. Когда весной будут проложены вторые пути узкоколейной дороги от Басры к Каспийскому морю, эта дорога станет важным путем подвоза. Наш долг и наши интересы требуют оказания всей возможной помощи русским, даже ценой серьезных жертв с нашей стороны. Однако мы не сможем ее предоставить в большом масштабе до середины или до конца 1942 года, а основные планы придется отнести к 1943 году. Ваша задача будет состоять в том, чтобы не только содействовать разработке планов оказания помощи России, но также обеспечить, чтобы мы сами не были при этом обескровлены; и даже если вы окажетесь под влиянием атмосферы в России, то я здесь, в Англии, буду совершенно непреклонен. Я, однако, уверен, что вы самый подходящий человек для этого дела, а чутье широкой публики уже это санкционировало».

В качестве предварительного сообщения об этой миссии я обрисовал положение в общих чертах в письме к Сталину от 30 августа 1941 г.:

«Я стремился найти какой-либо путь для оказания помощи Вашей стране в ее великолепном сопротивлении впредь до осуществления рассчитанных на более длительный период мероприятий, по поводу которых мы ведем переговоры с Соединенными Штатами Америки и которые послужат предметом Московского совещания. Г-н Майский заявил, что испытывается сильная нужда в самолетах-истребителях ввиду Ваших тяжелых потерь. Мы ускоряем отправку 200 самолетов „Томагавк“, о которых я телеграфировал в своем последнем послании. Наши две эскадрильи в составе 40 „Харрикейнов“ должны прибыть в Мурманск около 6 сентября.

Вы понимаете, я уверен, что самолеты-истребители составляют основу обороны метрополии. Кроме того, мы стремимся достичь преобладания в воздухе в Ливии, а также снабдить Турцию, с тем чтобы привлечь ее на нашу сторону. Тем не менее я мог отправить еще 200 «Харрикейнов», что составило бы в общей сложности 440 истребителей, если бы ваши пилоты могли эффективно их использовать. Речь идет о самолетах «Харрикейн», вооруженных восемью – двенадцатью пулеметами. Мы нашли, что эти самолеты весьма смертоносны в действии. Мы могли бы послать в Архангельск 100 штук теперь и вскоре вслед за тем две партии по 50 штук вместе с механиками, инструкторами, запасными частями и оборудованием. Тем временем могли бы быть приняты меры, чтобы начать ознакомление Ваших пилотов и механиков с новыми моделями, если Вы их прикомандируете к нашим эскадрильям в Мурманске.

Если Вы сочтете, что это принесет пользу, соответственные распоряжения будут даны отсюда; исчерпывающая объяснительная записка по техническим вопросам передается по телеграфу через нашу авиационную миссию…»

* * *

Вечером 4 сентября меня посетил Майский, чтобы передать ответ Сталина. Это было его первое личное послание после июля:

«Приношу благодарность за обещание, кроме обещанных раньше 200 самолетов-истребителей, продать Советскому Союзу еще 200 истребителей. Не сомневаюсь, что советским летчикам удастся освоить их и пустить в дело.

Должен, однако, сказать, что эти самолеты, которые, как видно, могут быть пущены в дело не скоро и не сразу, а в разное время и отдельными группами, не смогут внести серьезных изменений на восточном фронте. Они не смогут внести серьезных изменений не только вследствие больших масштабов войны, требующих непрерывной подачи большого количества самолетов, но главным образом потому, что за последние три недели положение советских войск значительно ухудшилось в таких важных районах, как Украина и Ленинград.

Дело в том, что относительная стабилизация на фронте, которой удалось добиться недели три назад, в последние недели потерпела крушение вследствие переброски на восточный фронт свежих 30–34 немецких пехотных дивизий и громадного количества танков и самолетов, а также вследствие большой активизации 20 финских дивизий и 26 румынских дивизий. Немцы считают опасность на Западе блефом и безнаказанно перебрасывают с Запада все свои силы на Восток, будучи убеждены, что никакого второго фронта на Западе нет и не будет. Немцы считают вполне возможным бить своих противников поодиночке: сначала русских, потом англичан.

В итоге мы потеряли больше половины Украины и, кроме того, враг оказался у ворот Ленинграда. Эти обстоятельства привели к тому, что мы потеряли Криворожский железорудный бассейн и ряд металлургических заводов на Украине, эвакуировали один алюминиевый завод на Днепре и другой алюминиевый завод в Тихвине, один моторный и два самолетных завода на Украине, два моторных и два самолетных завода в Ленинграде, причем эти заводы могут быть приведены в действие на новых местах не ранее как через семь-восемь месяцев.

Все это привело к ослаблению нашей обороноспособности и

поставило Советский Союз перед смертельной угрозой.

Здесь уместен вопрос: каким образом выйти из этого более чем неблагоприятного положения?

Я думаю, что существует лишь один путь выхода из такого положения: создать уже в этом году второй фронт где-либо на Балканах или во Франции, могущий оттянуть с восточного фронта 30–40 немецких дивизий, и одновременно обеспечить Советскому Союзу 30 тысяч тонн алюминия к началу октября с. г. и ежемесячную минимальную помощь в количестве 400 самолетов и 500 танков (малых или средних).

Без этих двух видов помощи Советский Союз либо потерпит поражение, либо будет ослаблен до того, что потеряет надолго способность оказывать помощь своим союзникам своими активными действиями на фронте борьбы с гитлеризмом.

Я понимаю, что настоящее послание доставит Вашему Превосходительству огорчение. Но что делать? Опыт научил меня смотреть в глаза действительности, как бы она ни была неприятной, и не бояться высказать правду, как бы она ни была нежелательной».

Советский посол, которого сопровождал Иден, беседовал со мной полтора часа. Он с горечью подчеркнул, что в течение последних одиннадцати недель Россия фактически одна выносит на своих плечах всю тяжесть немецкого натиска. Русские армии отражают нападение невиданных масштабов. Он сказал, что не хотел бы прибегать к драматическим выражениям, но это может явиться поворотным пунктом истории. Если Советская Россия будет побеждена, каким образом мы сможем выиграть войну? Майский в волнующих выражениях подчеркнул исключительную тяжесть кризиса, создавшегося на русском фронте, и его слова вызвали у меня сочувствие. Но когда я вдруг почувствовал в его призыве о помощи скрытую угрозу, я рассердился.

Я сказал послу, которого знал много лет: «Вспомните, что еще четыре месяца назад мы, на нашем острове, не знали, не выступите ли вы против нас на стороне немцев. Право же, мы считали это вполне возможным. Но даже тогда мы были убеждены в нашей конечной победе. Мы никогда не считали, что наше спасение в какой-либо мере зависит от ваших действий. Что бы ни случилось и как бы вы ни поступили, вы-то не имеете никакого права упрекать нас».

Так как я разгорячился, говоря об этом, то посол воскликнул: «Пожалуйста, спокойнее, мой дорогой господин Черчилль!»

Но после этого его тон заметно изменился.

Дальнейшая часть нашей беседы была посвящена вопросам, уже затрагивавшимся в телеграфной переписке. Посол просил о

немедленной высадке на побережье Франции или Нидерландов. Я изложил те военные соображения, по которым это было невозможно, а также объяснил, что это не принесло бы облегчения России. Наконец мы с Иденом сказали ему, что мы со своей стороны готовы дать финнам ясно понять, что мы объявим им войну, если они продвинутся в Россию далее своих границ 1918 года.

Майский не мог, разумеется, отказаться от своего призыва о немедленном открытии второго фронта, и дальнейшие споры по этому поводу были бесполезны.

* * *

Я немедленно проконсультировался с кабинетом по поводу вопросов, затронутых в этой беседе, и в тот же вечер отправил ответ Сталину (6 сентября 1941 г.):

«1. Я сразу же отвечаю в духе Вашего послания. Хотя мы не остановились бы ни перед какими усилиями, в настоящее время нет никакой возможности осуществить такую британскую акцию на Западе (кроме акции в воздухе), которая позволила бы до зимы отвлечь германские силы с восточного фронта. Нет также никакой возможности создать второй фронт на Балканах без помощи Турции. Я хочу, если Ваше Превосходительство того пожелает, изложить Вам все те основания, которые привели начальников штабов к такому заключению. Эти основания уже были обсуждены сегодня с Вашим Послом на особом совещании, в котором приняли участие я и начальники штабов. Акция, ведущая лишь к дорогостоящей неудаче, – как бы похвальны ни были ее мотивы – может быть полезна только Гитлеру.

2. Информация, имеющаяся в моем распоряжении, создает у меня впечатление, что германское вторжение уже миновало высшую точку своего напряжения, ибо зима принесет Вашим героическим армиям передышку (это, однако, мое личное мнение).

3. По вопросу о снабжении. Мы прекрасно сознаем тяжелые потери, понесенные русской промышленностью, и приложим все усилия к тому, чтобы Вам помочь. Я телеграфирую Президенту Рузвельту с целью ускорить прибытие сюда, в Лондон, миссии Гарримана, и мы попытаемся еще до Московской конференции сообщить Вам о количестве самолетов и танков, которые мы совместно обещаем Вам посылать ежемесячно вместе с поставками резины, алюминия, сукна и прочего. Со своей стороны мы готовы посылать Вам из британской продукции половину того

ежемесячного количества самолетов и танков, которые Вы просите. Мы надеемся, что США будут удовлетворять вторую половину Ваших потребностей. Мы приложим все усилия к тому, чтобы начать Вам отправку снабжения немедленно.

4. Мы уже отдали приказы о снабжении персидской железной дороги подвижным составом, с тем чтобы поднять ее нынешнюю пропускную способность с двух поездов в каждую сторону в сутки до ее полной пропускной способности, а именно до 12 поездов в каждую сторону в сутки. Это будет достигнуто к весне 1942 года, до какового срока пропускная способность будет постепенно увеличиваться. Паровозы и вагоны из Англии будут посылаться вокруг мыса Доброй Надежды после переоборудования их на нефтяное топливо. Вдоль железной дороги будет развита система водоснабжения. Первые 48 паровозов и 400 вагонов вот-вот должны быть отправлены.

5. Мы готовы выработать с Вами совместные планы. Будут ли британские армии достаточно сильны для того, чтобы осуществить вторжение на европейский континент в 1942 году, зависит от событий, которые трудно предвидеть. По всей вероятности, можно будет оказать Вам содействие на Крайнем Севере, когда там наступит полярная ночь. Мы надеемся довести наши армии на Среднем Востоке до трех четвертей миллиона человек к концу этого года и затем до миллиона к лету 1942 года. Как только германо-итальянские силы будут уничтожены в Ливии, эти войска смогут включиться в фронт на Вашем южном фланге и, как можно надеяться, повлиять на Турцию в смысле соблюдения ею по крайней мере честного нейтралитета. Тем временем мы будем продолжать бомбардировать Германию с воздуха с возрастающей силой, будем также держать моря открытыми и бороться за свою жизнь.

6. В первом абзаце Вашего послания Вы употребили слово «продать». Мы не смотрим на дело с этой точки зрения и никогда не думали об уплате. Было бы лучше, если бы всякая помощь, оказанная Вам нами, покоилась на той же самой базе товарищества, на какой построен американский закон о займе-аренде, то есть без формальных денежных расчетов. Мы охотно готовы оказать в полную меру наших сил всяческое давление на Финляндию, включая немедленное официальное уведомление ее, что мы объявим ей войну, если она пойдет дальше своих старых границ. Мы просим также США предпринять все возможные шаги, чтобы повлиять на Финляндию».

* * *

15 сентября я получил еще одну телеграмму от Сталина:

«Я изложил в своем последнем послании мнение Правительства СССР о создании второго фронта как основного средства улучшения нашего общего дела. В ответ на Ваше послание, где Вы вновь подчеркиваете невозможность создания в данный момент второго фронта, я могу лишь повторить, что отсутствие второго фронта льет воду на мельницу наших общих врагов.

Я не сомневаюсь, что Английское Правительство желает победы Советскому Союзу и ищет путей для достижения этой цели. Если создание второго фронта на Западе в данный момент, по мнению Английского Правительства, представляется невозможным, то, может быть, можно было бы найти другое средство активной военной помощи Советскому Союзу против общего врага? Мне кажется, что Англия могла бы без риска высадить 25–30 дивизий в Архангельск или перевести их через Иран в южные районы СССР для военного сотрудничества с советскими войсками на территории СССР по примеру того, как это имело место в прошлую войну во Франции. Это была бы большая помощь. Мне кажется, что такая помощь была бы серьезным ударом по гитлеровской агрессии.

Приношу благодарность за обещание ежемесячной помощи со стороны Англии алюминием, самолетами и танками.

Я могу лишь приветствовать, что Английское Правительство думает оказать эту помощь не в порядке купли-продажи самолетов, алюминия и танков, а в порядке товарищеского сотрудничества.

Надеюсь, что Английское Правительство получит немало случаев убедиться в том, что Правительство СССР умеет достойным образом оценить помощь своего союзника…»

19 сентября я отправил на это послание самый лучший ответ, какой только мог:

«1. Очень благодарен за Ваше послание. Миссия Гарримана прибыла в полном составе и занята работой с утра до вечера с лордом Бивербруком и его сотрудниками. Целью является изучение всего вопроса о ресурсах с тем, чтобы можно было выработать сообща с Вами конкретную программу месячных поставок по всем имеющимся маршрутам и тем самым оказать Вам по возможности помощь в возмещении ущерба, причиненного Вашей военной промышленности. По идее Президента Рузвельта этот первый план должен охватить период до конца июня, но мы, естественно, будем продолжать оказывать Вам помощь до достижения победы. Я надеюсь, что совещание может открыться в Москве 25-го сего месяца, но это не должно предаваться

гласности до тех пор, пока все участники не прибудут благополучно к месту назначения. О маршрутах и средствах передвижения будет сообщено позже.

2. Я придаю большое значение вопросу об открытии сквозного пути от Персидского залива до Каспия не только по железной дороге, но и по автомобильной магистрали, к постройке которой мы надеемся привлечь американцев с их энергией и организационными способностями. Лорд Бивербрук сможет объяснить весь план снабжения и перевозок: он находится в самых дружественных отношениях с г-ном Гарриманом.

3. Все возможные театры войны, на которых мы бы могли осуществить военное сотрудничество с Вами, были подвергнуты рассмотрению со стороны штабов. Наиболее благоприятные возможности представляются, несомненно, на обоих флангах – на северном и южном. Если бы мы могли действовать с успехом в Норвегии, то это оказало бы сильное влияние на позицию Швеции, но в настоящее время мы не располагаем ни военными силами, ни судовым тоннажем для осуществления этого проекта. Что касается Юга, то значение Турции чрезвычайно велико: если можно заручиться помощью Турции, то в нашем распоряжении окажется добавочная мощная армия. Турция хотела бы присоединиться к нам, но боится, и не без основания. Возможно, что, обещая ей помощь значительными британскими вооруженными силами и поставку технических средств, в которых Турция испытывает недостаток, можно оказать на нее решающее влияние. Мы изучим с Вами любую другую форму действенной поддержки, ибо единственная цель заключается в том, чтобы привести в действие против общего врага максимальные силы…».

* * *

Два обстоятельства определяли теперь наши отношения с Советским Союзом. Первым был неопределенный, неудовлетворительный ход наших консультаций по военным вопросам, вторым – требование русских о разрыве наших отношений с сателлитами держав оси – Финляндией, Венгрией и Румынией. Как мы видели, во время совещаний, состоявшихся незадолго перед тем в Москве, в первом направлении было мало что сделано.

Вопрос о разрыве нами отношений с Финляндией был впервые поднят Майским в его беседе со мной 4 сентября. Я знал, что русские придерживаются совершенно определенной точки зрения на этот счет. Финны воспользовались нападением

Германии на Россию, чтобы возобновить в июле 1941 года военные действия на Карельском фронте.

Они надеялись вернуть территории, которых они лишились по Московскому договору в предыдущем году. Их военные операции осенью 1941 года представляли серьезную угрозу не только для Ленинграда, но также и для линий снабжения из Мурманска и Архангельска к русско-германскому фронту.

Начиная с августа и американское правительство, и мы сами в суровых выражениях предостерегали финнов насчет возможных последствий такого положения. Финны заявляли, что нуждаются в спорной провинции Восточной Карелии для обеспечения своей собственной безопасности от России, и события двух предыдущих лет подкрепляли их точку зрения. Однако теперь, когда Россия вела с Германией войну не на жизнь, а на смерть, союзники явно не могли допустить, чтобы Финляндия, действуя как сателлит Германии, перерезала главные северные линии коммуникаций России с Западом.

Положение Румынии было аналогично положению Финляндии. В июне 1940 года русские оккупировали румынскую провинцию Бессарабия, приобретя тем самым контроль над устьем Дуная. Теперь под руководством маршала Антонеску и в союзе с Германией румынские армии не только снова заняли Бессарабию, но и глубоко вклинились в черноморские области России, подобно тому, как финны делали это в Восточной Карелии. Венгры, занимавшие ключевую позицию на коммуникациях Центральной и Юго-Восточной Европы, также оказывали прямую помощь военным усилиям Германии.

Но я отнюдь не был уверен в том, что объявление войны будет правильным выходом из положения. Оставалась еще возможность, что под нажимом Соединенных Штатов и Великобритании Финляндия согласится на справедливые и разумные мирные условия. Во всяком случае, что касается Румынии, были все основания считать, что диктаторский режим Антонеску не вечен. Поэтому я решил снова поставить перед маршалом Сталиным вопрос о военном планировании и сотрудничестве и о том, чтобы избежать объявления войны этим сателлитам держав оси.

12 октября 1941 г. я отправил ему письмо:

«…Мы сообщали Вам в моем послании от 6 сентября, что мы готовы объявить войну Финляндии. Прошу Вас, однако, обсудить, будет ли действительно целесообразно объявление Великобританией войны Финляндии, Венгрии и Румынии в настоящий момент. Это было бы лишь формальностью, ибо наша широкая блокада уже действует против них. Мои соображения

говорят против этого потому, что, во-первых, у Финляндии много друзей в Соединенных Штатах, и было бы более благоразумным принять во внимание этот факт.

Во-вторых, что касается Румынии и Венгрии, то эти страны полны наших друзей; Гитлер подавил их и воспользовался ими как слепым орудием. Но если счастье обратится против этого головореза, то они легко смогут снова перейти на нашу сторону. Объявление войны Великобританией оттолкнуло бы их и вызвало бы впечатление, как будто Гитлер является главой грандиозного европейского союза, сплоченно противостоящего нам. Прошу не подумать, что мы сомневаемся в пользе этого шага из-за недостатка рвения или товарищеского отношения. Наши доминионы, за исключением Австралии, против этого. Тем не менее, если Вы сочтете, что это было бы действительной помощью для Вас и имело бы смысл, я снова поставлю этот вопрос перед кабинетом.

Я надеюсь, что наши поставки вывозятся из Архангельска с такой же быстротой, как они туда поступают. Небольшой грузопоток начинает теперь также идти через Персию. Мы будем перекачивать наши поставки по обоим путям, напрягая до предела все свои усилия. Прошу Вас обеспечить, чтобы наши техники, следующие с танками и самолетами, имели бы полную возможность передать это вооружение Вашим людям при наилучших условиях. В настоящее время наша миссия в Куйбышеве оторвана от этих дел. Она хочет лишь помочь. Мы отправляем это вооружение с риском для себя, и мы весьма желали бы, чтобы оно использовалось самым лучшим образом. Вероятно, необходимо Ваше распоряжение…»

Сталин ответил мне 8 ноября 1941 г.:

«…Относительно объявления войны Финляндии, Венгрии и Румынии со стороны Великобритании создалось, мне кажется, нетерпимое положение. Советское Правительство поставило этот вопрос перед Правительством Великобритании в секретном дипломатическом порядке. Неожиданно для СССР весь этот вопрос, начиная от обращения Советского Правительства к Правительству Великобритании вплоть до рассмотрения этого вопроса Правительством США, вынесен в печать и обсуждается в печати, дружественной и вражеской, вкривь и вкось. И после всего этого Правительство Великобритании заявляет о своем отрицательном отношении к нашему предложению. Для чего все это делается? Неужели для того, чтобы демонстрировать разлад между СССР и Великобританией?..

Можете не сомневаться, что нами принимаются все меры к тому, чтобы поступающее из Англии в Архангельск вооружение

своевременно доставлялось по месту назначения. То же будет сделано и в отношении Ирана. Нельзя, однако, не сказать, хотя это и мелочь, что танки, артиллерия и авиация приходят в плохой упаковке, отдельные части артиллерии приходят в разных кораблях, а самолеты настолько плохо упакованы, что мы получаем их в разбитом виде».

Ответ Сталина свидетельствовал о том, что при нынешних настроениях русских лидеров чисто военные переговоры дали бы мало конкретных результатов.

* * *

…Вопрос об открытии второго фронта продолжал оставаться главной проблемой в наших отношениях с Советами и весь следующий год. При всем нашем желании мы не могли наметить какой-то осуществимый план форсирования Ла-Манша силами крупной англо-американской армии и высадки во Франции раньше конца лета 1943 года.

Вечером 14 апреля 1942 г. комитет обороны собрался вместе с нашими американскими друзьями на Даунинг-стрит, 10. Это обсуждение казалось настолько важным, что я заранее попросил генерала Исмея лично вести протокол, который приводится ниже.

«Генерал Маршалл сказал, что все целиком согласны относительно того, что должно быть предпринято в 1943 году, и относительно развертывания сильнейшего воздушного наступления против Германии… Вопрос о наличии войск не представляет проблемы.

Основной трудностью будет обеспечение необходимого тоннажа десантных судов, самолетов и морских эскортов.

В ходе его переговоров с английскими начальниками штабов выявились два пункта, вызывающие сомнения. Первый из них – это вопрос о том, можно ли будет получить из США достаточно материалов для поддержания Среднего Востока и Индии; второй вопрос – о том, насколько целесообразна высадка на континенте в 1942 году, выходящая за рамки рейда крупных масштабов. Возможно, что мы будем вынуждены предпринять это, и во всяком случае мы должны к этому приготовиться. По его мнению, трудности не будут неразрешимыми, так как у нас будет большая степень господства в воздухе.

Масштабы наших объединенных программ самолетостроения показывают, что так и будет, в особенности учитывая, что германская кампания против России поглотит крупные ресурсы и, следовательно, сократит рискованность наших операций. Таким

образом, именно немцам придется попробовать, что значит драться без поддержки с воздуха. У него было немного времени перед отъездом из Соединенных Штатов, чтобы изучить проблему операций в 1942 году, но на основании имеющихся данных он пришел к выводу, что они не могут быть предприняты раньше сентября. Если бы их пришлось предпринять раньше, американский вклад был бы скромным; однако независимо от того, какими станут американские силы здесь к тому времени, они смогут быть использованы полностью. Президент особенно подчеркнул, что он хотел бы, чтобы его вооруженные силы участвовали в максимально возможной степени во всем том, что может быть предпринято.

Сэр Аллан Брук сказал, что начальники штабов полностью согласны с ним по поводу осуществления этого проекта в 1943 году. Операции на континенте в 1942 году зависят от того, какого успеха добьются немцы в своей кампании против России. Мы считаем, что до сентября дело достигнет решающей стадии.

Начальники штабов полностью согласны с тем, что главный враг – Германия.

В то же время необходимо сдерживать японцев и не давать им соединиться с немцами. Если бы японцы добились контроля над Индийским океаном, это не только создало бы серьезную угрозу Среднему Востоку, но мы потеряли бы также нефтяные поставки из района Персидского залива. В результате Германия получила бы всю потребную ей нефть, южный путь в Россию был бы перерезан, Турция оказалась бы изолированной и беззащитной, немцы получили бы свободный доступ в Черное море, а Германия и Япония были бы в состоянии обмениваться товарами, в которых они так сильно нуждаются.

Затем я добавил, что в течение ближайших двух-трех месяцев мы не в состоянии справиться без помощи с флотом, который японцы могут развернуть в Индийском океане. В то время нам не были известны в точности намерения Соединенных Штатов, касавшиеся действий флота и операций на Тихом океане… Главное, что необходимо в этом районе, это добиться превосходства над японцами в авиации, базирующейся на авианосцы. Мы сами в очень скором времени будем иметь в Индийском океане три авианосца, и к ним, возможно, присоединится со временем «Фьюриес».

Гопкинс сказал, что если бы общественное мнение в Америке настояло на своем, то все американские усилия были бы направлены против Японии. Тем не менее, серьезно обсудив положение, президент и американские военные руководители решили, что правильно будет направить силу американского

оружия против Германии. Однако не надо думать, что у американского правительства существует неправильное представление о положении на Среднем Востоке и на всех остальных важнейших фронтах, таких, как Россия, Австралия и Тихий океан. Американское решение продиктовано двумя основными соображениями. Во-первых, Соединенные Штаты хотят сражаться не только на море, но также на суше и в воздухе. Во-вторых, они желают сражаться там, где это будет наиболее полезно, и там, где они могут добиться превосходства, а самое главное, они стремятся участвовать в каких-либо действиях вместе с англичанами.

Если бы такого рода действия были начаты в этом году, Соединенные Штаты хотели бы внести максимально возможный вклад, независимо от того, когда такие действия будут предприняты. Предлагая сентябрь в качестве самой ранней даты перехода к действию, они в значительной степени исходили из опасения, что будут содействовать мероприятию, в котором они не смогут сыграть надлежащую роль… Что касается Австралийского и других театров военных действий, то Соединенные Штаты, безусловно, выполнят свои обязательства, но все их помыслы будут полностью захвачены предлагаемым сейчас великим планом. Американская нация стремится принять участие в борьбе плечом к плечу с англичанами.

Сэр Чарльз Портал (начальник штаба военно-воздушных сил) сказал, что необходимо не забывать о разнице между военно-воздушными операциями по ту сторону Ла-Манша и высадкой экспедиционных сил. Первые можно продолжать или прекращать по желанию. Однако во втором случае мы не смогли бы по собственному желанию продолжать или перестать действовать. Нам придется продолжать действия авиации в течение всего того времени, пока войска будут на континенте. Поэтому, если мы высадим экспедиционные войска, мы должны быть уверены в том, что ресурсы авиации достаточны для того, чтобы операцию можно было довести до конца.

В заключение я сказал, что, хотя еще остается разработать детали плана (вторжения через Ла-Манш в 1943 году), налицо полное единодушие в отношении основ плана. Обе нации пойдут вперед плечом к плечу, объединенные благородным братством по оружию».

План был назван, хотя и не мною, «Раундап».

* * *

Теперь разрешите мне изложить мою собственную точку зрения, которая оставалась неизменной, на то, что было решено в то время и что, по моему мнению, следовало предпринять.

Планируя гигантское мероприятие 1943 года, мы не могли отложить в сторону все остальные обязанности. Нашим первым обязательством перед империей была защита Индии от японского вторжения, которое ей, казалось, уже угрожало. К тому же эта задача была решающим образом связана со всей войной. Покинуть на произвол судьбы 400 миллионов индийских подданных его величества, защищать которых обязывало нас чувство чести, дать им подвергнуться опустошениям и захвату японцами, так, как это было с Китаем, было бы позорно. Точно так же допустить, чтобы немцы и японцы подали друг другу руку в Индии или на Северном Востоке, было бы неизмеримой катастрофой для дела союзников. По значению я признавал ее почти равносильной отступлению Советской России за Урал или даже заключению ею сепаратного мира с Германией. В то время я не считал вероятным ни то ни другое. Я верил в силу русских армий и русской нации, защищавших свою родную землю. Однако наша индийская империя со всей ее славой могла оказаться легкой добычей.

Мне пришлось изложить эту точку зрения американским посланцам. Без активной английской помощи Индия могла быть завоевана в течение нескольких месяцев. Порабощение Гитлером Советской России было бы гораздо более затяжной и более дорогостоящей для него задачей. Прежде чем она могла быть осуществлена, англо-американцы установили бы свое неоспоримое господство в воздухе. Если бы даже все остальное сорвалось, это господство сыграло бы в конечном счете решающую роль.

Я был полностью согласен с планом, как выражался Гопкинс, «лобового натиска на противника в Северной Франции в 1943 году». Но что нужно было сделать в этот промежуток времени? Главные армии не могли просто заниматься лишь подготовкой в течение всего этого периода. В этом вопросе мнения сильно расходились. Генерал Маршалл предложил, что нам следует попытаться захватить Брест или Шербур, предпочтительнее последний, или даже оба эти порта ранней осенью 1942 года. Операция была бы почти целиком английской. Мы должны были дать для нее флот, авиацию, две трети войск и те десантные суда, какие имелись бы в наличии. Для этого могли быть выставлены только две-три американские дивизии. Нужно напомнить, что эти дивизии были созданы совсем недавно. Требуются минимум два года и весьма сильные профессиональные кадры для того, чтобы

создать первоклассные войска.

Следовательно, это было бы мероприятием, на которое решающее влияние должно оказать, конечно, мнение английского штаба. Ясно, что требовалось углубленное техническое изучение проблемы.

Тем не менее я отнюдь не отверг эту идею с самого начала, но мои помыслы занимали другие альтернативы. Одной из них был десант во Французской Северо-Западной Африке (Марокко, Алжир и Тунис), в то время известный под названием «Джимнаст», а в конечном счете превратившийся в великую операцию «Торч». У меня был второй альтернативный план, к которому я всегда стремился и который, по моему мнению, можно было предпринять так же, как и вторжение во Французскую Северную Африку. Это был «Юпитер» – план освобождения Северной Норвегии. Это было бы прямой помощью России.

Это был единственный метод организации прямой комбинированной военной операции, осуществляемой совместно с русскими войсками, кораблями и самолетами. Это было средством, получив северную оконечность Европы, открыть самый широкий путь для потока поставок в Россию. Это было мероприятие, которое, поскольку оно было бы осуществлено в арктических районах, не потребовало бы ни крупных воинских контингентов, ни большого расхода снаряжения и боеприпасов. Немцы получили эти жизненно важные стратегические пункты у Нордкапа по очень дешевой цене. Их можно было бы вернуть также недорогой ценой в сравнении с масштабами, которые к тому времени приняла война. Я лично стоял за «Торч», и, если бы я мог полностью поступить по-своему, я испробовал бы также план «Юпитер» в 1942 году.

Попытка создать плацдарм в Шербуре казалась мне более трудной и менее привлекательной идеей, не столь полезной с точки зрения ближайшего будущего и менее плодотворной в конечном счете. Нам было бы целесообразнее запустить когти нашей правой лапы во Французскую Северную Африку, рвануть левой лапой по Нордкапу и подождать год, не рискуя ломать свои зубы об укрепленный германский фронт по ту сторону Ла-Манша.

Таковы были мои взгляды в то время, и я никогда в них не раскаивался.

* * *

20 мая 1942 года в Лондон прибыл Молотов, утром 22 мая я

имел с ним официальную беседу.

Молотов начал с сообщения о том, что Советское правительство поручило ему поехать в Лондон для обсуждения вопроса о создании второго фронта. Цель его визита – выяснить, как рассматривает английское правительство перспективу отвлечения в 1942 году по меньшей мере 40 германских дивизий из СССР, где в данный момент перевес в вооруженных силах принадлежит, по-видимому, немцам.

Отвечая Молотову, я изложил ему суть наших общих взглядов по поводу будущих операций на континенте. Во всех предыдущих войнах контроль на море давал державе, обладавшей им, великое преимущество – возможность высадиться по желанию на неприятельском побережье, поскольку противник был не в состоянии подготовиться во всех пунктах к отражению вторжения с моря. Появление авиации изменило все положение. Например, во Франции, Бельгии и Голландии противник может за несколько часов перебросить свою авиацию к угрожаемым пунктам в любой части побережья, а горький опыт показал, что высадка десанта при наличии сильного неприятельского сопротивления в воздухе не является разумным военным предприятием.

Неизбежным последствием этого является то, что значительные участки побережья континента не могут быть использованы нами в качестве мест для высадки войск и судов. Поэтому мы вынуждены изучать свои шансы на высадку в тех районах побережья, где наше превосходство в истребительной авиации дало бы нам контроль в воздухе. По сути дела, наш выбор сводится в Па-де-Кале, оконечности Шербурского полуострова и части района Бреста. Проблема высадки войск в этом году в одном или нескольких из этих районов изучается, и подготовка ведется. В своих планах мы исходим из предположения, что высадка последовательными эшелонами штурмовых войск вызовет воздушные бои, которые, в случае если они продолжатся неделю или десять дней, приведут к фактическому уничтожению неприятельской авиации на континенте. Когда это будет достигнуто и сопротивление в воздухе ликвидировано, в других пунктах побережья смогут быть высажены десанты под прикрытием нашего превосходящего по силе морского флота.

Критическим моментом в разработке наших планов и в приготовлениях является вопрос о специальных десантных судах, необходимых для осуществления первоначального десанта на весьма сильно обороняемом неприятельском побережье. К несчастью, наши ресурсы в отношении этого специального типа судов в данный момент строго ограничены. Я сказал, что уже в

августе прошлого года, во время встречи в Атлантическом океане, я доказал президенту Рузвельту неотложную необходимость постройки Соединенными Штатами как можно большего числа танкодесантных и других десантных судов. Позднее, в январе этого года, президент согласился на то, чтобы Соединенные Штаты предприняли еще большие усилия в деле строительства этих судов. Мы, со своей стороны, на протяжении более чем года выпускаем столько десантных судов, сколько это допускает наша потребность в строительстве судов для военного и торгового флотов, понесших тяжелые потери.

Однако следует иметь в виду два момента. Во-первых, при всем желании и несмотря на все старания маловероятно, чтобы любой шаг, который мы смогли бы предпринять в 1942 году, будь он даже успешным, отвлек с Восточного фронта крупные контингенты неприятельских сухопутных сил. В воздухе, однако, положение другое: на различных театрах военных действий мы уже сковываем около половины истребительной и одну треть германской бомбардировочной авиации. Если наш план навязывания воздушных сражений над континентом окажется успешным, немцы, возможно, столкнутся с необходимостью выбирать между уничтожением в боях всей их истребительной авиации на Западе и отвлечением части своих военно-воздушных сил с Востока.

Второй момент касается предложения г-на Молотова о том, что нашей целью должно быть отвлечение из России не менее 40 германских дивизий (включая те, которые сейчас находятся на Западе). Следует отметить, что в настоящий момент перед нами в Ливии стоят 11 дивизий оси, из которых 3 – германские, в Норвегии – эквивалент 8 германских дивизий и во Франции, Голландии и Бельгии – 25 германских дивизий. Это составляет в общей сложности 44 дивизии.

Но мы этим не удовлетворяемся, и если можно будет предпринять какие-то дальнейшие усилия или разработать план облегчения в этом году бремени, лежащего на России, мы не поколеблемся сделать это при условии, что этот план будет здравым и разумным. Ясно, что ни делу русских, ни делу союзников в целом не принесло бы пользы, если бы, действуя любой ценой только для того, чтобы действовать, мы предприняли операцию, которая кончилась бы катастрофой и дала бы противнику повод для похвальбы, а нас ввергла бы в замешательство.

Молотов сказал, что он не сомневается в том, что Англия искренне желает успеха Советской Армии в боях против немцев этим летом. Каковы же, с точки зрения английского

правительства, перспективы на советский успех? Каковы бы ни были его взгляды, он будет рад услышать откровенное выражение мнения – будь то хорошее или плохое.

Я сказал, что без детального знания ресурсов и резервов обеих сторон трудно составить твердое суждение по этому вопросу. В прошлом году военные эксперты, включая германских, думали, что Советскую Армию можно подавить и одолеть. Оказалось, что они полностью ошиблись. В конечном результате советские силы нанесли поражение Гитлеру и чуть не привели его армию к катастрофе. Поэтому союзники России глубоко верят в силу и способности Советской Армии. Данные разведки, которыми располагает английское правительство, не указывают на то, что немцы сосредоточивают огромные силы на каком-то отдельном участке Восточного фронта. Кроме того, сейчас представляется маловероятным, чтобы широкое наступление, возвещенное на май, произошло раньше июня. Во всяком случае, не похоже на то, чтобы гитлеровское наступление в этом году могло быть таким сильным и таким угрожающим, как наступление 1941 года.

Тогда Молотов спросил, каково будет положение и позиция английского правительства в случае, если Советская Армия не выдержит в течение 1942 года.

Я сказал, что, если бы советская военная мощь серьезно сократилась в результате германского натиска, Гитлер, по всей вероятности, перебросил бы как можно больше войск и авиации на Запад с целью вторжения в Великобританию. Он может также нанести удар на юг через Баку по Кавказу и Персии. Это последнее наступление подвергло бы нас величайшим опасностям, и мы отнюдь не должны быть уверены, что у нас достаточно сил, чтобы его отразить. Поэтому наша судьба связана с сопротивлением Советской Армии. Тем не менее, если вопреки ожиданиям она будет разбита и если наступит самое худшее, мы будем продолжать борьбу дальше. В конечном счете силы Великобритании и Соединенных Штатов взяли бы верх. Но какой трагедией для человечества явилось бы такое затягивание войны! Какие серьезные надежды возлагаются на русскую победу и как горячо стремление к тому, чтобы мы сыграли свою роль в победе над злобным врагом!

Под конец нашего разговора я попросил Молотова помнить о трудностях вторжения через море. После того как Франция выпала из войны, Великобритания осталась почти оголенной, имея несколько плохо снаряженных дивизий, менее сотни танков и менее 20 полевых орудий. И все же Гитлер не попытался предпринять вторжение в силу того, что он не мог добиться

господства в воздухе. Те же трудности стоят перед нами в настоящее время.

* * *

Публичное заявление, которое могло бы внушить немцам опасения и, следовательно, задержать как можно больше их войск на Западе, не причинило бы вреда. Поэтому мы договорились опубликовать коммюнике, обнародованное 11 июня, после возвращения Молотова из Соединенных Штатов, в котором содержалась следующая фраза: «Во время переговоров была достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году».

Я считал чрезвычайно важным, чтобы при этой попытке ввести в заблуждение врага мы не ввели в заблуждение нашего союзника. Поэтому в то время, как составлялось коммюнике, я лично вручил Молотову в зале заседаний кабинета в присутствии ряда моих коллег памятную записку, из которой ясно следовало, что, хотя мы делаем все от нас зависящее для разработки планов, мы не связываем себя обязательством действовать и мы не можем дать никакого обещания. Когда в дальнейшем Советское правительство выступало с упреками, и когда Сталин лично ставил передо мной этот вопрос, мы всегда вынимали эту памятную записку и указывали на слова «следовательно, мы не можем дать обещания».

«Памятная записка.

Мы ведем подготовку к высадке на континенте в августе или сентябре 1942 года. Как уже объяснялось, основным фактором, ограничивающим размеры десантных сил, является наличие специальных десантных судов. Между тем ясно, что ни для дела русских, ни для дела союзников в целом не было бы полезно, если бы мы, ради действий любой ценой, предприняли какую-либо операцию, которая закончилась бы катастрофой и дала бы противнику удобный случай для похвальбы, а нас ввергла бы в замешательство. Невозможно сказать заранее, будет ли положение таково, чтобы сделать эту операцию осуществимой, когда наступит время. Следовательно, мы не можем дать обещание в этом отношении, но если это окажется здравым и разумным, мы не поколеблемся претворить свои планы в жизнь».

Разговор со Сталиным в Москве

В августе 1942 года я находился в Каире, откуда 10-го числа вылетел в Москву. Мне предстояла неприятная обязанность сообщить Сталину, что второго фронта в Европе в этом году не будет. В мою группу, которая разместилась в трех самолетах, входили теперь генерал Уэйвелл (который говорил по-русски), маршал авиации Тендер и сэр Александр Кадоган. Аверелл Гарриман находился в одном самолете со мной. К рассвету мы приближались к горам Курдистана.

По прибытии в Тегеран меня встретил посланник его величества сэр Ридер Буллард. На следующее утро, в среду 12 августа, мы вылетели в 6 часов 30 минут утра.

Я размышлял о своей миссии в это угрюмое, зловещее большевистское государство, которое я когда-то так настойчиво пытался задушить при его рождении и которое вплоть до появления Гитлера я считал смертельным врагом цивилизованной свободы. Что должен был я сказать им теперь? Генерал Уэйвелл, у которого были литературные способности, суммировал все это в стихотворении, которое он показал мне накануне вечером. В нем было несколько четверостиший, и последняя строка каждого из них звучала: «Не будет второго фронта в 1942 году».

Это было все равно, что везти большой кусок льда на Северный полюс. Тем не менее я был уверен, что я обязан лично сообщить им факты и поговорить обо всем этом лицом к лицу со Сталиным, а не полагаться на телеграммы и посредников. Это, по крайней мере, показывало, что об их судьбе заботятся и понимают, что означает их борьба для войны вообще. Мы всегда ненавидели их безнравственный режим, и если бы германский цеп не нанес им удара, они равнодушно наблюдали бы, как нас уничтожают, и с радостью разделили бы с Гитлером нашу империю на Востоке.

Примерно в 5 часов показались шпили и купола Москвы. Мы кружились вокруг города по тщательно указанным маршрутам, вдоль которых все батареи были предупреждены, и приземлились на аэродроме, на котором мне предстояло побывать еще раз во время войны.

Здесь находился Молотов во главе группы русских генералов и весь дипломатический корпус, а также, как и всегда в подобных случаях, много фотографов и репортеров. Был произведен смотр большого почетного караула, безупречного в отношении одежды и выправки. Он прошел перед нами после того, как оркестр

исполнил национальные гимны трех великих держав, единство которых решило судьбу Гитлера. Меня подвели к микрофону, и я произнес короткую речь. Аверелл Гарриман говорил от имени Соединенных Штатов. Он должен был остановиться в американском посольстве. Молотов доставил меня в своей машине в предназначенную для меня резиденцию, находящуюся в 8 милях от Москвы, – на государственную дачу номер 7. Когда мы проезжали по улицам Москвы, которые казались очень пустынными, я опустил стекло, чтобы дать доступ воздуху, и, к моему удивлению, обнаружил, что стекло имеет толщину более двух дюймов. Это превосходило все известные мне рекорды.

«Министр говорит, что это более надежно», – сказал переводчик Павлов.

Через полчаса с небольшим мы прибыли на дачу.

Все было подготовлено с тоталитарной расточительностью. В мое распоряжение был предоставлен в качестве адъютанта огромного роста офицер, обладавший великолепной внешностью (я думаю, он принадлежал к княжеской фамилии при царском режиме), который выступал также в роли нашего хозяина и являл собой образец вежливости и внимания. Много опытных слуг в белых куртках и с сияющими улыбками следили за каждым пожеланием или движением гостей. Длинный стол в столовой и различные буфеты были заполнены разными деликатесами и напитками, какие только может предоставить верховная власть. Меня провели через обширную приемную комнату в спальню и ванную, которые имели почти одинаковые размеры.

Яркий, почти ослепительный электрический свет показывал безупречную чистоту. Хлынула горячая и холодная вода. Я с нетерпением ждал горячей ванны после продолжительного путешествия в жаре. Все было приготовлено моментально. Я заметил, что над раковинами нет отдельных кранов для холодной и горячей воды, а в раковинах нет затычек. Горячая и холодная вода, смешанная до желательной температуры, вытекала через один кран. Кроме того, не приходилось мыть руки в раковине, это можно было делать под струей воды из крана. В скромной форме я применил эту систему у себя дома. Если нет недостатка в воде, то это самая лучшая система.

После всех необходимых погружений и омовений нас угощали в столовой всевозможными отборными блюдами и напитками, в том числе, конечно, икрой и водкой. Кроме того, было много других блюд и вин из Франции и Германии, гораздо больше, чем мы могли или хотели съесть. К тому же у нас оставалось мало времени до отъезда в Москву. Я сказал Молотову, что буду готов встретиться со Сталиным этим вечером,

и он предложил, чтобы встреча произошла в 7 часов.

* * *

Я прибыл в Кремль и впервые встретился с великим революционным вождем и мудрым русским государственным деятелем и воином, с которым в течение следующих трех лет мне предстояло поддерживать близкие, суровые, но всегда волнующие, а иногда даже сердечные отношения. Наше совещание продолжалось около четырех часов. Поскольку наш второй самолет, в котором находились Брук, Уэйвелл и Кадоган, не прибыл, присутствовали только Сталин, Молотов, Ворошилов, я, Гарриман, а также наш посол и переводчики. Я составил этот отчет на основании записей, которые мы вели, на основании моих собственных воспоминаний, а также телеграмм, которые я посылал в Англию в то время.

Первые два часа были унылыми и мрачными. Я сразу же начал с вопроса о втором фронте, заявив, что хочу говорить откровенно и хотел бы, чтобы Сталин тоже проявил полную откровенность. Я не приехал бы в Москву, если бы не был уверен, что он сможет обсуждать реальные вещи. Когда Молотов был в Лондоне, я говорил ему, что мы пытаемся составить планы диверсии во Франции. Я также разъяснил Молотову, что не могу дать никаких обещаний относительно 1942 года, и вручил Молотову меморандум по этому вопросу.

После этого англичанами и американцами было проведено исчерпывающее изучение проблемы. Английское и американское правительства не считают для себя возможным предпринять крупную операцию в сентябре, являющемся последним месяцем, в течение которого можно полагаться на погоду. Однако, как это известно Сталину, они готовятся к очень большой операции в 1943 году.

С этой целью сейчас установлены сроки прибытия в Соединенное Королевство миллиона американских солдат на их сборный пункт весной 1943 года, что составит экспедиционную армию в 27 дивизий, к которым английское правительство готово добавить 21 дивизию. Почти половину этих войск составят бронетанковые войска. Пока что в Соединенное Королевство прибыли только 2,5 американской дивизии, однако большие перевозки будут осуществлены в октябре, ноябре и декабре.

Я сказал Сталину, что хорошо понимаю, что этот план не дает никакой помощи России в 1942 году, но считаю возможным, что, когда план 1943 года будет готов, вполне может оказаться, что

немцы будут иметь более сильную армию на Западе, чем теперь. В этот момент лицо Сталина нахмурилось, но он не прервал меня. Затем я сказал, что у меня есть серьезные доводы против атаки на французское побережье в 1942 году. Имеющихся у нас десантных судов хватит лишь для высадки первого эшелона десанта на укрепленном побережье – их хватит для того, чтобы высадить шесть дивизий и поддерживать их. Если высадка окажется успешной, могли бы быть посланы и другие дивизии, но лимитирующим фактором являются десантные суда, которые теперь строятся в очень большом количестве в Соединенном Королевстве, а особенно в Соединенных Штатах. Вместо одной дивизии, которая могла бы быть доставлена в этом году, в будущем году окажется возможным доставить восемь или десять.

Сталин становился все мрачнее и мрачнее; казалось, он не был убежден моими доводами и спросил, разве невозможно атаковать какую-либо часть французского побережья. Я показал ему карту, из которой было видно, насколько трудно создать воздушное прикрытие где-либо, кроме как непосредственно по ту сторону Ла-Манша. Он, казалось, не понял этого и задал несколько вопросов о радиусе действия самолетов-истребителей.

Разве они не могли бы, например, все время прилетать и улетать? Я разъяснил, что они, конечно, могли бы прилетать и улетать, но при таком радиусе у них не оставалось бы времени, чтобы сражаться, и я добавил, что воздушное прикрытие необходимо держать развернутым для того, чтобы оно приносило какую-то пользу. Он затем сказал, что во Франции нет ни одной германской дивизии, представляющей какую-нибудь ценность. Я возражал против этого заявления. Во Франции находится 25 германских дивизий, причем 9 из них являются дивизиями первой линии. Он покачал головой. Я сказал, что взял с собой начальника имперского генерального штаба, чтобы подобные вопросы могли быть подробно рассмотрены с русским генеральным штабом. Существует граница, за пределами которой государственные деятели не могут вести переговоры такого рода.

* * *

Сталин, мрачное настроение которого к этому времени значительно усилилось, сказал, что, насколько он понимает, мы не можем создать второй фронт со сколько-нибудь крупными силами и не хотим даже высадить шесть дивизий. Я ответил, что дело обстоит так. Мы могли бы высадить шесть дивизий, но их высадка принесла бы больше вреда, чем пользы, ибо она сильно

повредила бы большой операции, намечаемой на будущий год. Война – это война, но не безрассудство, и было бы глупо навлечь катастрофу, которая не принесет пользу никому. Я выразил опасение, что привезенные мною известия не являются хорошими известиями. Если бы, бросив в дело 150–200 тысяч человек, мы могли оказать ему помощь, отвлекая с русского фронта существенные германские силы, мы не отказались бы от такого курса из-за потерь. Однако, если это не отвлечет с русского фронта солдат и испортит перспективы 1943 года, то такое решение было бы большой ошибкой.

Сталин, который стал держать себя нервно, сказал, что он придерживается другого мнения о войне. Человек, который не готов рисковать, не может выиграть войну. Почему мы так боимся немцев? Он не может этого понять. Его опыт показывает, что войска должны быть испытаны в бою. Если не испытать в бою войска, нельзя получить никакого представления о том, какова их ценность. Я спросил, задавался ли он когда-нибудь вопросом, почему Гитлер не вторгся в Англию в 1940 году, когда его мощь была наивысшей, а мы имели только 20 тысяч обученных солдат, 200 пушек и 50 танков [63]. Он не вторгся. Факт таков, что Гитлер испугался этой операции. Не так легко преодолеть Ла-Манш. Сталин ответил, что здесь не может быть аналогии. Высадка Гитлера в Англии встретила бы сопротивление народа, тогда как в случае английской высадки во Франции народ будет на стороне англичан.

Я указал, что поэтому тем более важно, чтобы в результате отступления народ Франции не оказался перед угрозой мести Гитлера и чтобы не потерять зря этих людей, которые будут нужны во время большой операции в 1943 году.

Наступило гнетущее молчание. В конце концов Сталин сказал, что, если мы не можем произвести высадку во Франции в этом году, он не вправе требовать этого или настаивать на этом, но он должен сказать, что не согласен с моими доводами.

Затем я развернул карту Южной Европы, Средиземного моря и Северной Африки. Что представляет собой второй фронт? Представляет ли он собой только высадку на укрепленном побережье против Англии? Или он способен принять форму какого-нибудь другого большого предприятия, которое может быть полезным для общего дела?..

Я говорил о том, какие военные преимущества принесет освобождение Средиземного моря – оно даст возможность открыть еще один фронт. В сентябре мы должны одержать победу в Египте, а в октябре – в Северной Африке. Если к концу года мы сможем овладеть Северной Африкой, мы могли бы угрожать

брюху гитлеровской Европы, и эта операция должна рассматриваться в сочетании с операцией 1943 года. Это и есть то, что мы с американцами решили сделать.

Я подчеркнул, что мы хотим облегчить бремя русских.

Если мы попытаемся сделать это в Северной Франции, то натолкнемся на отпор. Если мы предпримем попытку в Северной Африке, то у нас будут хорошие шансы на победу, и тогда мы могли бы помочь в Европе. Если бы мы могли овладеть Северной Африкой, то Гитлеру пришлось бы отозвать свои воздушные силы, в противном случае мы уничтожили бы его союзников, даже, например, Италию, и произвели бы высадку. Операция окажет серьезное влияние на Турцию и на всю Южную Европу, и я боюсь только того, что нас могут опередить. Если Северная Африка будет завоевана в этом году, мы могли бы предпринять смертельную атаку против Гитлера в следующем году.

Я затем коснулся вопроса о возможности использования англо-американской авиации на южном фланге русских армий, чтобы защищать Каспийское море и Кавказские горы и вообще сражаться на этом театре. Однако я не говорил о деталях, поскольку нам, конечно, надо было сначала выиграть нашу битву в Египте и я не был знаком с планами президента относительно участия американцев. Если Сталину понравится эта идея, мы займемся детальной ее разработкой. Он ответил, что они будут очень благодарны за эту помощь, но вопрос о размещении английской авиации потребует детального изучения.

Затем мы собрались около большого глобуса, и я разъяснил Сталину, какие громадные преимущества даст освобождение от врага Средиземного моря. Я сказал Сталину, что если он захочет опять увидеться со мной, то я в его распоряжении. Он ответил, что по русскому обычаю гость должен сказать о своих желаниях и что он готов принять меня в любое время. Теперь он знал самое худшее, и мы все-таки расстались в атмосфере доброжелательства.

* * *

Встреча продолжалась почти четыре часа. Потребовалось полчаса с небольшим, чтобы добраться до государственной дачи номер 7. Хотя я был сильно утомлен, я продиктовал после полуночи телеграммы военному кабинету и президенту Рузвельту, а затем крепко и надолго заснул с сознанием, что, по крайней мере, лед сломлен и установлен человеческий контакт.

На следующее утро я проснулся поздно в моем роскошном

помещении. Я договорился, что в полдень нанесу визит Молотову в Кремле, чтобы разъяснить ему полнее и яснее характер различных операций, которые мы имели в виду. Я предложил ему, чтобы моя встреча со Сталиным состоялась в 10 часов этим вечером. Позднее, днем, мне сообщили, что удобнее было бы устроить встречу в 11 часов вечера. Меня спросили, не захочу ли я взять с собой Гарримана, поскольку речь будет идти о тех же вопросах, что и накануне вечером. Я ответил «да» и сказал, что мне хотелось бы также взять с собой Кадогана, Брука, Уэйвелла и Теддера, которые тем временем благополучно прибыли из Тегерана на русском самолете, поскольку существовала опасность возникновения пожара на их самолете «ли-берейтор».

Прежде чем покинуть эту изысканную строгую комнату дипломата, я повернулся к Молотову и сказал: «Сталин допустил бы большую ошибку, если бы обошелся с нами сурово, после того как мы проделали такой большой путь. Такие вещи не часто делаются обеими сторонами сразу».

Молотов впервые перестал быть чопорным. «Сталин, – сказал он, – очень мудрый человек. Вы можете быть уверены, что, какими бы ни были его доводы, он понимает все. Я передам ему то, что вы сказали».

Мы все прибыли в Кремль в 11 часов вечера и были приняты только Сталиным и Молотовым, при которых находился их переводчик. Затем начался крайне неприятный разговор. Сталин передал мне документ. Когда он был переведен, я сказал, что отвечу на него в письменной форме и что Сталин должен понять, что мы приняли решение относительно курса, которому надо следовать, и упреки тщетны. После этого мы спорили почти два часа. За это время он сказал очень много неприятных вещей, особенно о том, что мы слишком боимся сражаться с немцами и что если бы мы попытались это сделать, подобно русским, то мы убедились бы, что это не так уж плохо; что мы нарушили наше обещание относительно второго фронта; что мы не выполнили обещаний в отношении поставок России и посылали лишь остатки после того, как взяли себе все, в чем мы нуждались. По-видимому, эти жалобы были адресованы в такой же степени Соединенным Штатам, как и Англии.

Я решительно отверг все его утверждения, но без каких-либо колкостей. Мне кажется, он не привык к тому, чтобы ему неоднократно противоречили. Однако он вовсе не рассердился и даже не был возбужден. Он повторил свое мнение, что англичане и американцы смогли бы высадить шесть или восемь дивизий на Шербурском полуострове, поскольку они обладают господством в воздухе. Он считал, что если бы английская армия так же много

сражалась с немцами, как русская армия, то она не боялась бы так сильно немцев. Русские и, конечно, английская авиация показали, что немцев можно бить. Английская пехота могла бы сделать то же самое при условии, если бы она действовала одновременно с русскими.

Я вмешался и заявил, что согласен с замечаниями Сталина по поводу храбрости русской армии. Предложение о высадке в Шербуре не учитывает существования Ла-Манша. Наконец Сталин сказал, что нет смысла продолжать разговор на эту тему. Он вынужден принять наше решение. Затем он отрывисто пригласил нас на обед в 8 часов следующего вечера.

Принимая приглашение, я сказал, что вылечу на самолете на рассвете следующим утром, то есть 15-го. Джо, казалось, был несколько озабочен этим и спросил, не смогу ли я остаться дольше. Я ответил, что, конечно, могу, если это принесет какую-нибудь пользу, и что во всяком случае я останусь еще на день. Я воскликнул затем, что в его позиции не чувствуется уз товарищества. Я проделал большой путь, чтобы установить хорошие деловые отношения. Мы сделали все возможное, чтобы помочь России, и будем продолжать это делать.

Мы были покинуты в полном одиночестве в течение года в борьбе против Германии и Италии. Теперь, когда три великие нации стали союзниками, победа обеспечена, при условии, если мы не разойдемся и т. д. Когда я говорил это, я был несколько возбужден, и, прежде чем сказанное мною успели перевести, Сталин заметил, что ему нравится тон моего высказывания. После этого начался разговор в несколько менее напряженной атмосфере.

* * *

Сталин начал длительное обсуждение, касающееся двух русских минометов, стреляющих ракетами, действие которых, по его словам, было опустошительным. Он предложил показать их нашим экспертам, если они могут обождать. Он сказал, что предоставит нам всю информацию об этих минометах, но не будет ли нами дано что-нибудь взамен? Не должно ли существовать соглашение об обмене информацией по поводу изобретений? Я сказал, что мы дадим им все, не торгуясь, за исключением лишь тех приспособлений, которые, если они окажутся на самолетах над вражескими позициями и будут сбиты, сделают для нас более трудной бомбардировку Германии. Он согласился с этим. Он также согласился с тем, чтобы его военные

представители встретились с нашими генералами, и такая встреча была намечена на 3 часа дня.

Наконец, я задал вопрос по поводу Кавказа. Намерен ли он защищать горную цепь и каким количеством дивизий? При обсуждении этого вопроса он послал за макетом хребта и совершенно откровенно и с явным знанием дела разъяснил прочность этого барьера, для защиты которого, по его словам, имеется 25 дивизий. Он указал на различные горные проходы и сказал, что они будут обороняться. Я спросил, укреплены ли они, и он ответил: «Да, конечно». Линия фронта русских, до которой враг еще не дошел, находилась севернее основного хребта. Он сказал, что им придется держаться в течение двух месяцев, когда снег сделает горы непроходимыми. Он заявил, что вполне уверен в том, что они смогут это сделать, а также подробно говорил о силе Черноморского флота, который был сосредоточен в Батуми.

Вся эта часть беседы была менее напряженной, однако, когда Гарриман задал вопрос по поводу планов доставки американских самолетов через Сибирь, на что русские лишь недавно дали согласие после продолжительных настояний американцев, он ответил отрывисто: «Войны не выигрывают планами». Гарриман все время поддерживал меня, и ни один из нас не сделал ни малейшей уступки и не произнес ни одного горького слова. Сталин раскланялся с нами и протянул мне на прощание свою руку, и я пожал ее.

Ниже приводится памятная записка от 13 августа 1942 г., которую Сталин вручил мне:

«В результате обмена мнений в Москве, имевшего место 12 августа с. г., я установил, что Премьер-министр Великобритании г. Черчилль считает невозможной организацию второго фронта в Европе в 1942 году.

Как известно, организация второго фронта в Европе в 1942 году была предрешена во время посещения Молотовым Лондона и она была отражена в согласованном англо-советском коммюнике, опубликованном 12 июня с. г.

Известно также, что организация второго фронта в Европе имела своей целью отвлечение немецких сил с восточного фронта на Запад, создание на Западе серьезной базы сопротивления немецко-фашистским силам и облегчение таким образом положения советских войск на советско-германском фронте в 1942 году.

Вполне понятно, что Советское Командование строило план своих летних и осенних операций в расчете на создание второго фронта в Европе в 1942 году.

Легко понять, что отказ Правительства Великобритании от

создания второго фронта в 1942 году в Европе наносит моральный удар всей советской общественности, рассчитывающей на создание второго фронта, осложняет положение Красной Армии на фронте и наносит ущерб планам Советского Командования.

Я уже не говорю о том, что затруднения для Красной Армии, создающиеся в результате отказа от создания второго фронта в 1942 году, несомненно, должны будут ухудшить военное положение Англии и всех остальных союзников.

Мне и моим коллегам кажется, что 1942 год представляет наиболее благоприятные условия для создания второго фронта в Европе, так как почти все силы немецких войск, и притом лучшие силы, отвлечены на восточный фронт, а в Европе оставлено незначительное количество сил, и притом худших сил. Неизвестно, будет ли представлять 1943 год такие же благоприятные условия для создания второго фронта, как 1942 год. Мы считаем поэтому, что именно в 1942 году возможно и следует создать второй фронт в Европе. Но мне, к сожалению, не удалось убедить в этом господина Премьер-министра Великобритании, а г. Гарриман, представитель Президента США при переговорах в Москве, целиком поддержал господина Премьер-министра».

Следующим утром, хорошо отдохнув, я подготовил с помощью начальника имперского генерального штаба и Кадогана следующий ответ, в котором, в частности, было сказано:

«…Ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не нарушили никакого обещания. Я обращаю внимание на пункт 5 моего меморандума, врученного г-ну Молотову 10 июня 1942 года, в котором отчетливо сказано: «Поэтому мы не можем дать никакого обещания». Этот меморандум явился результатом длительных переговоров, в которых было исчерпывающим образом разъяснено, что существуют весьма малые шансы на принятие подобного плана. Некоторые из бесед, в которых были даны эти разъяснения, записаны…

Мы не можем согласиться с тем, что переговоры с гном Молотовым о втором фронте, поскольку они были ограничены как устными, так и письменными оговорками, дали бы какое-либо основание для изменения стратегических планов русского верховного командования.

Мы вновь подтверждаем нашу решимость оказывать нашим русским союзникам помощь всеми возможными средствами».

* * *

Этим вечером мы были на официальном обеде в Кремле, на котором присутствовало около 40 человек, в том числе некоторые высокопоставленные военные, члены Политбюро и другие высшие официальные лица. Сталин и Молотов радушно принимали гостей. Такие обеды продолжаются долго, и с самого начала было произнесено в форме очень коротких речей много тостов и ответов на них. Распространялись глупые истории о том, что эти советские обеды превращаются в попойки. В этом нет ни доли правды. Маршал и его коллеги неизменно пили после тостов из крошечных рюмок, делая в каждом случае лишь маленький глоток. Меня изрядно угощали.

Мы со Сталиным договорились о встречах между руководящими военными представителями обеих сторон. 15 августа состоялось два совещания. Я послал следующее сообщение об их результатах Эттли и президенту Рузвельту:

«На совещании в Москве в субботу (15 августа) Ворошилов и Шапошников встретились с Бруком, Уэйвеллом и Тендером, которые подробно изложили причины отказа от операции „Следжхэммер“ по открытию второго фронта. Это не произвело никакого впечатления, поскольку русские, хотя и были настроены вполне благосклонно, действовали по строгим инструкциям. Они даже не пытались сколько-нибудь серьезно и подробно обсуждать этот вопрос. Через некоторое время начальник имперского генерального штаба попросил сообщить ему подробно о положении на Кавказе, на что Ворошилов ответил, что он не уполномочен говорить на эту тему, но попросит соответствующих полномочий.

В связи с этим днем состоялось второе заседание, на котором русские повторили то, что Сталин сообщил нам, а именно, что 25 дивизий будет выделено для обороны кавказских горных позиций и проходов по обе стороны и что, как они полагают, им удастся удержать Батуми, Баку и кавказскую горную цепь до тех пор, пока зимние снега значительно не улучшат их положение. Однако начальник имперского генерального штаба не успокоился. Так, например, Ворошилов заявил, что все проходы укреплены, но, когда начальник имперского генерального штаба летел на высоте 150 футов вдоль западного берега Каспийского моря, он видел, что северная линия обороны только начала возводиться вместе с противотанковыми заграждениями, дотами и т. п.

В частной беседе со мной Сталин открыл мне другие веские основания своей уверенности, в том числе и план широкого контрнаступления, но он просил меня держать это в особом секрете, и я не буду дальше об этом распространяться здесь. Я лично считаю, что существуют равные шансы и на то, что они

выдержат, но начальник имперского генерального штаба не уверен в этом».

Меня обижало многое, что говорилось на наших совещаниях. Я делал всяческие скидки на то напряжение, которое испытывали советские руководители в условиях, когда они вели кровопролитные сражения на фронте почти в 2 тысячи миль, а немцы находились в 50 милях от Москвы и двигались к Каспийскому морю. Технические военные переговоры шли не особенно успешно. Наши генералы задавали всевозможные вопросы, на которые их советские коллеги не были уполномочены отвечать. Единственное требование Советов было – «второй фронт сейчас». В конце концов Брук даже повел себя несколько резко, и военное совещание было прервано довольно внезапно.

* * *

Нам предстояло вылететь на рассвете 16-го. Накануне вечером, в 7 часов, я отправился попрощаться со Сталиным. Состоялась полезная и важная беседа. В частности, я спросил, сможет ли он удержать кавказские горные проходы и помешать немцам достигнуть Каспийского моря, захватить нефтепромыслы в районе Баку, воспользоваться связанными с этим преимуществами и затем рвануться на юг через Турцию или Персию.

Он разостлал на столе карту и сказал со спокойной уверенностью: «Мы остановим их. Они не перейдут через горы».

Он добавил: «Ходят слухи, что турки нападут на нас в Туркестане. Если это верно, то я смогу расправиться и с ними».

Я сказал, что нет такой опасности. Турки намерены держаться в стороне и, конечно, не захотят ссориться с Англией.

Наша беседа, длившаяся час, подходила к концу, и я поднялся и начал прощаться. Сталин вдруг, казалось, пришел в замешательство и сказал особенно сердечным тоном, каким он еще не говорил со мной:

«Вы уезжаете на рассвете. Почему бы нам не отправиться ко мне домой и не выпить немного?»

Я сказал, что в принципе я всегда за такую политику.

Он повел меня через многочисленные коридоры и комнаты до тех пор, пока мы не вышли на безлюдную мостовую внутри Кремля и через несколько сот шагов пришли в квартиру, в которой он жил. Он показал мне свои личные комнаты, которые были среднего размера и обставлены просто и достойно. Их было четыре – столовая, кабинет, спальня и большая ванная. Вскоре

появилась сначала очень старая экономка, а затем красивая рыжеволосая девушка, которая покорно поцеловала своего отца.

Он взглянул на меня с усмешкой в глазах, и мне показалось, что он хотел сказать: «Видите, мы, большевики, тоже живем семейной жизнью».

Дочь Сталина начала накрывать на стол, и вскоре экономка появилась с несколькими блюдами. Тем временем Сталин раскупоривал разные бутылки, которые вскоре составили внушительную батарею.

Затем он сказал: «Не позвать ли нам Молотова? Он беспокоится о коммюнике. Мы могли бы договориться о нем здесь. У Молотова есть одно особенное качество – он может пить».

Тогда я понял, что предстоит обед. Я собирался обедать на государственной даче номер 7, где меня ждал польский командующий генерал Андерс, но я попросил моего нового и превосходного переводчика майора Бирса позвонить и передать, что я вернусь после полуночи. Вскоре прибыл Молотов. Мы сели за стол, и с двумя переводчиками нас было пятеро. Майор Бирс жил в Москве 20 лет и отлично понимал Сталина, с которым он в течение некоторого времени вел довольно живой разговор, в котором я не мог принять участия.

Мы просидели за этим столом более семи часов. Обед был, очевидно, импровизированным и неожиданным, но постепенно приносили все больше и больше еды. Мы отведывали всего понемногу, по русскому обычаю, пробуя многочисленные и разнообразные блюда, и потягивали различные превосходные вина. Молотов принял свой самый приветливый вид, а Сталин, чтобы еще больше улучшить атмосферу, немилосердно подшучивал над ним.

Вскоре мы заговорили о конвоях судов, направляемых в Россию. В этой связи он сделал грубое замечание о почти полном уничтожении арктического конвоя PQ-17 в июне. «Г-н Сталин спрашивает, – сказал Павлов несколько нерешительно, – разве у английского флота нет чувства гордости?»

Я ответил:

«Вы должны верить мне, что то, что было сделано, было правильно. Я действительно знаю много о флоте и морской войне».

«Это означает, – вмешался Сталин, – что я ничего не знаю».

«Россия сухопутный зверь, – сказал я, – а англичане морские звери».

Он замолчал и вновь обрел свое благодушное настроение.

Я перевел разговор на Молотова:

«Известно ли маршалу, что его министр иностранных дел во

время своей недавней поездки в Вашингтон заявил, что он решил посетить Нью-Йорк исключительно по своей инициативе и что его задержка на обратном пути объяснялась не какими-нибудь неполадками с самолетом, а была преднамеренной».

Хотя на русском обеде в шутку можно сказать почти все, что угодно, Молотов отнесся к этому довольно серьезно.

Но лицо Сталина просияло весельем, когда он сказал:

«Он отправился не в Нью-Йорк. Он отправился в Чикаго, где живут другие гангстеры».

* * *

Когда отношения были, таким образом, полностью восстановлены, беседа продолжалась. Я заговорил о высадке англичан в Норвегии при поддержке русских и объяснил, что если бы нам удалось захватить Нордкап зимой и уничтожить там немцев, это открыло бы путь для наших конвоев. Этот план, как можно заключить из предыдущего, всегда был одним из моих излюбленных планов. Казалось, Сталину он понравился, и, обсудив средства его осуществления, мы договорились, что нам следует выполнить его по мере возможности.

Было уже за полночь, а Кадоган все не появлялся с проектом коммюнике.

«Скажите мне, – спросил я, – на вас лично так же тяжело сказываются тяготы этой войны, как проведение политики коллективизации?»

Эта тема сейчас же оживила маршала.

«Ну нет, – сказал он, – политика коллективизации была страшной борьбой».

«Я так и думал, что вы считаете ее тяжелой, – сказал я, – ведь вы имели дело не с несколькими десятками тысяч аристократов или крупных помещиков, а с миллионами маленьких людей».

«С десятью миллионами, – сказал он, подняв руки. – Это было что-то страшное, это длилось четыре года, но для того, чтобы избавиться от периодических голодовок, России было абсолютно необходимо пахать землю тракторами. Мы должны механизировать наше сельское хозяйство. Когда мы давали трактора крестьянам, то они приходили в негодность через несколько месяцев. Только колхозы, имеющие мастерские, могут обращаться с тракторами. Мы всеми силами старались объяснить это крестьянам. Но с ними было бесполезно спорить. После того, как вы изложите все крестьянину, он говорит вам, что он должен пойти домой и посоветоваться с женой, посоветоваться со своим

подпаском».

Это последнее выражение было новым для меня в этой связи.

«Обсудив с ними это дело, он всегда отвечает, что не хочет колхоза и лучше обойдется без тракторов».

«Это были люди, которых вы называли кулаками?»

«Да, – ответил он, не повторив этого слова. После паузы он заметил: – Все это было очень скверно и трудно, но необходимо».

«Что же произошло?» – спросил я.

«Многие из них согласились пойти с нами, – ответил он. – Некоторым из них дали землю для индивидуальной обработки в Томской области, или в Иркутской, или еще дальше на север, но основная их часть была весьма непопулярна, и они были уничтожены своими батраками».

Наступила довольно длительная пауза. Затем Сталин продолжал:

«Мы не только в огромной степени увеличили снабжение продовольствием, но и неизмеримо улучшили качество зерна. Раньше выращивались всевозможные сорта зерна. Сейчас во всей нашей стране никому не разрешается сеять какие бы то ни было другие сорта, помимо стандартного советского зерна. В противном случае с ними обходятся сурово. Это означает еще большее увеличение снабжения продовольствием».

Я воспроизвожу эти воспоминания по мере того, как они приходят мне на память, и помню, какое сильное впечатление на меня в то время произвело сообщение о том, что миллионы мужчин и женщин уничтожаются или навсегда переселяются. Несомненно, родится поколение, которому будут неведомы их страдания, но оно, конечно, будет иметь больше еды и будет благословлять имя Сталина. Я не повторил афоризм Берка: «Если я не могу провести реформ без несправедливости, то не надо мне реформ». В условиях, когда вокруг нас свирепствовала мировая война, казалось бесполезным морализировать вслух.

* * *

К часу ночи прибыл Кадоган с проектом коммюнике, и мы занялись его окончательным редактированием. На стол подали молочного поросенка довольно крупных размеров. До сих пор Сталин только пробовал отдельные блюда, но время близилось уже к 3 часам ночи, и это был его обычный обеденный час. Он предложил Кадогану вместе с ним атаковать жертву, а когда мой друг отказался, хозяин обрушился на жертву в одиночку. Закончив, он поспешно вышел в соседнюю комнату, чтобы

выслушать доклады со всех участков фронта, которые начинали поступать к нему после 2 часов утра. Он возвратился минут через 20, и к тому времени мы согласовали коммюнике.

Наконец в 2 часа 30 минут утра я сказал, что должен ехать. Мне нужно было полчаса добираться до дачи и столько же ехать до аэродрома. Голова моя раскалывалась от боли, что было для меня весьма необычным. А мне еще нужно было повидаться с генералом Андерсом. Я просил Молотова не провожать меня на рассвете, так как он явно был очень утомлен. Он посмотрел на меня укоризненно, как бы говоря: «Вы действительно думаете, что я не провожу вас?»

Ниже я приведу опубликованный текст коммюнике:

«Англо-советское коммюнике о переговорах Премьер-министра Великобритании г-на У. Черчилля с Председателем Совнаркома СССР И. В. Сталиным.

В Москве происходили переговоры между Председателем Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталиным и Премьер-министром Великобритании г-ном У. Черчиллем, в которых участвовал господин Гарриман как представитель президента США. В беседах приняли участие Народный Комиссар Иностранных Дел В. М. Молотов, маршал К. Е. Ворошилов – с советской стороны, британский Посол сэр А. Кларк Керр, Начальник Имперского Генерального штаба сэр А. Брук и другие ответственные представители британских вооруженных сил, постоянный заместитель министра иностранных дел сэр Александр Кадоган – с английской стороны.

Был принят ряд решений, охватывающих область войны против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе. Эту справедливую освободительную войну оба правительства исполнены решимости вести со всей силой и энергией до полного уничтожения гитлеризма и всякой подобной тирании.

Беседы, происходившие в атмосфере сердечности и полной откровенности, дали возможность еще раз констатировать наличие тесного содружества и взаимопонимания между Советским Союзом, Великобританией и США в полном соответствии с существующими между ними союзными отношениями».

Тегеранская конференция

Важное значение для наших отношений с Советами имела «встреча трех» в Тегеране в ноябре 1943 года. Надо сказать, что я был не в восторге от того, как была организована эта встреча с нашей стороны. По моем прибытии на самолете в Тегеран английский посланник встретил меня на своей машине, и мы отправились с аэродрома в нашу дипломатическую миссию. По пути нашего следования в город на протяжении почти 3 миль через каждые 50 ярдов были расставлены персидские конные патрули. Таким образом, каждый злоумышленник мог знать, какая важная особа приезжает и каким путем она проследует. Не было никакой защиты на случай, если бы нашлись два-три решительных человека, вооруженных пистолетами или бомбой.

Американская служба безопасности более умно обеспечила защиту президента. Президентская машина проследовала в сопровождении усиленного эскорта бронемашин. В то же время самолет президента приземлился в неизвестном месте, и президент отправился без всякой охраны в американскую миссию по улицам и переулкам, где его никто не ждал.

Здание английской миссии и окружающие его сады почти примыкают к советскому посольству, и поскольку англо-индийская бригада, которой было поручено нас охранять, поддерживала прямую связь с еще более многочисленными русскими войсками, окружавшими их владение, то вскоре они объединились, и мы, таким образом, оказались в изолированном районе, в котором соблюдались все меры предосторожности военного времени.

Американская миссия, которая охранялась американскими войсками, находилась более чем в полумиле, а это означало, что в течение всего периода конференции либо президенту, либо Сталину и мне пришлось бы дважды или трижды в день ездить туда и обратно по узким улицам Тегерана. К тому же Молотов, прибывший в Тегеран за 24 часа до нашего приезда, выступил с рассказом о том, что советская разведка раскрыла заговор, имевший целью убийство одного или более членов «большой тройки», как нас называли, и поэтому мысль о том, что кто-то из нас должен постоянно разъезжать туда и обратно, вызывала у него глубокую тревогу. «Если что-нибудь подобное случится, – сказал он, – это может создать самое неблагоприятное впечатление». Этого нельзя было отрицать. Я всячески поддерживал просьбу Молотова к президенту переехать в здание советского посольства, которое было в три или четыре раза

больше, чем остальные, и занимало большую территорию, окруженную теперь советскими войсками и полицией. Мы уговорили Рузвельта принять этот разумный совет, и на следующий день он со всем своим штатом, включая и превосходных филиппинских поваров с его яхты, переехал в русское владение, где ему было отведено обширное и удобное помещение. Таким образом, мы все оказались внутри одного круга и могли спокойно, без помех, обсуждать проблемы мировой войны. Я очень удобно устроился в английской миссии, и мне нужно было пройти всего лишь несколько сот ярдов до здания советского посольства, которое на время превратилось, можно сказать, в центр всего мира.

* * *

Появилось много неправильных отчетов о позиции, которую я с полного согласия английского комитета начальников штабов занимал на конференции. В Америке утвердилось мнение, будто я старался помешать осуществлению операции «Оверлорд» по открытию второго фронта во Франции в 1944 году и тщетно пытался склонить союзников предпринять массовое вторжение на Балканы или крупную кампанию в восточной части Средиземного моря, которая поставила бы крест на операции «Оверлорд». Пожалуй, есть смысл рассказать, чего я в действительности добивался и чего в весьма значительной степени добился.

Операция «Оверлорд», к детальному планированию которой мы приступили, должна была быть начата в мае, или июне, или самое позднее в первых числах июля 1944 года. Войскам и судам, которые должны были перевозить их, по-прежнему предоставлялся приоритет. Далее, требовалось снабжать действующую в Италии многочисленную англо-американскую армию, перед которой стояла задача захватить Рим и продвинуться к северу от него, чтобы занять аэродромы, с которых можно было бы подвергать воздушной бомбардировке Южную Германию. После достижения этих целей войска в Италии Должны были остановиться на линии Пиза, Римини, то есть мы не должны были переносить линию фронта в более широкую часть Итальянского полуострова. Эти операции в случае сопротивления противника отвлекли бы и сковали крупные германские силы, дали бы итальянцам возможность искупить свою вину и непрерывно поддерживали бы пламя войны на вражеском фронте.

Я в то время не возражал против высадки на юге Франции,

вдоль Ривьеры, с целью захвата Марселя и Тулона и дальнейшего продвижения англо-американских войск на север вдоль долины Роны в помощь главным силам, которые предпримут основное вторжение через Ла-Манш. В качестве другого варианта я предпочитал правофланговое наступление из Северной Италии на Вену, используя Истрийский полуостров и Люблянский проход. Я был очень рад, когда президент внес это предложение, и пытался, как это будет видно из последующего, добиться, чтобы оно было принято. Если бы немцы оказали сопротивление, нам удалось бы отвлечь много их дивизий с русского фронта и с побережья Ла-Манша. Если бы они не стали сопротивляться, мы могли бы освободить небольшой ценой огромные и очень важные районы. Я был уверен, что немцы будут сопротивляться и этим мы поможем операции «Оверлорд» самым решительным образом.

Мое третье требование состояло в том, чтобы не пренебрегать восточной частью Средиземного моря со всеми преимуществами, которые она могла дать, при условии, конечно, что не будут отвлечены силы, которые можно использовать в операции форсирования Ла-Манша. Во всех этих своих планах я придерживался тех пропорций, о которых говорил генералу Эйзенхауэру двумя месяцами ранее, а именно: шесть десятых наших наличных сил – на операцию форсирования Ла-Манша, три десятых – в Италии и одна десятая – в восточной части Средиземного моря. От этого своего мнения я никогда ни на шаг не отклонялся.

Вскоре после переезда президента на новую квартиру, в советское посольство, Сталин пришел его приветствовать, и между ними состоялась дружественная беседа. По словам биографа Гопкинса, президент сообщил Сталину, что он обещал Чан Кайши развернуть активные операции в Бирме. Сталин был невысокого мнения о боевых качествах китайских войск. Президент «коснулся одной из его излюбленных тем… обучения колониальных народов Дальнего Востока… искусству самоуправления… Он предостерег Сталина против обсуждения проблем Индии с Черчиллем, и Сталин согласился, что это, несомненно, больной вопрос. Рузвельт сказал, что реформа в Индии должна начаться снизу, а Сталин заметил, что реформа снизу означает революцию».

Я провел это утро спокойно, занимаясь многочисленными телеграммами из Лондона.

* * *

Первое пленарное заседание состоялось в советском посольстве в воскресенье 28 ноября 1943 года в 4 часа дня. В просторном и красивом зале заседаний мы уселись за большим круглым столом. Со мной были Иден, Дилл, три начальника штабов и Исмей. С президентом были Гарри Гопкинс, адмирал Леги, адмирал Кинг и два других офицера. Генерал Маршалл и генерал Арнольд не присутствовали, так как, по свидетельству биографа Гопкинса, «они перепутали час заседания и поехали осматривать достопримечательности Тегерана». Со мной был мой превосходный переводчик, который обслуживал меня и в предыдущем году, майор Бирс. Павлов снова выполнял эту роль для советских представителей, а Болен, новый человек, – для представителей США. Сталина сопровождали только Молотов и маршал Ворошилов. Мы сидели со Сталиным почти напротив. Мы заранее договорились, что на первом заседании будет председательствовать президент Рузвельт, который не возражал против этого. Он открыл наше заседание поздравительной речью, заявив, согласно нашим записям, что русские, англичане и американцы впервые сидят за столом как члены одной семьи, добивающиеся единой цели – победы в войне. Никакой повестки дня для совещания заранее намечено не было, и каждый может обсуждать все, что угодно, и не обсуждать то, что ему неугодно. Каждый может свободно высказать все, что желает, на дружественной основе, и ничто не подлежит опубликованию.

В своем вступительном слове я тоже подчеркнул значение этого события. Это совещание, сказал я, представляет, пожалуй, величайшую концентрацию мировых сил, неизвестную еще в истории человечества. От нас зависит сокращение сроков войны, почти верная победа и, вне всякого сомнения, счастье и судьбы всего человечества.

Сталин сказал, что он высоко ценит наши заявления о дружбе трех держав. Им действительно предоставляется великая возможность, и он надеется, что они хорошо используют ее.

Затем президент начал обсуждение кратким обзором военного положения с американской точки зрения. Он сначала коснулся положения на Тихом океане, который имел особое значение для Соединенных Штатов, поскольку американские вооруженные силы несли там главное бремя войны, пользуясь помощью Австралии, Новой Зеландии и Китая.

Затем президент перешел к Европе. Было проведено много англо-американских совещаний и разработано много планов. Полтора года назад было решено предпринять экспедицию через Ла-Манш, но из-за транспортных и других трудностей все еще было невозможно установить точную дату начала операции.

Необходимо собрать в Англии силы достаточные не только для высадки, но и для продвижения в глубь страны. Воды Ла-Манша оказались столь неспокойными, что невозможно будет начать экспедицию до 1 мая 1944 года.

Рузвельт пояснил, что во всех десантных операциях ограничивающим фактором являются десантные суда, и если бы мы решили начать очень крупную экспедицию в Средиземном море, мы должны были бы совершенно отказаться от высадки на другом берегу Ла-Манша. Если бы мы предприняли в Средиземном море операцию меньших масштабов, то она задержала бы нас на один, два и даже три месяца. Поэтому оба мы – как президент, так и я – хотели бы на этой военной конференции услышать от маршала Сталина и маршала Ворошилова, какие действия будут наиболее полезными для Советского Союза.

Было рассмотрено множество разных проблем: усиление нашего наступления в Италии; Балканы; Эгейское море; Турция и т. д. Главная задача конференции и состоит в том, чтобы решить, какие из них принять. Основной задачей англо-американских армий будет как можно больше облегчить бремя, лежащее на советских войсках.

* * *

Сталин, выступивший следующим, приветствовал успехи Соединенных Штатов на Тихом океане, но заявил, что Советский Союз не может в настоящее время присоединиться к борьбе против Японии, поскольку все его вооруженные силы нужны для борьбы с Германией. Советских войск на Дальнем Востоке более или менее достаточно для обороны, но для наступления их надо было бы по меньшей мере утроить. Советский Союз сможет присоединиться к своим друзьям на этом театре после поражения Германии; тогда можно будет выступить в поход вместе.

Касаясь Европы, Сталин заявил, что он хотел бы сказать несколько слов о советском опыте ведения войны. Немцы предвидели июльское наступление советских войск, но в результате того, что было сконцентрировано достаточно войск и оружия, советским войскам было сравнительно легко перейти в наступление. Сталин откровенно признал, что русские не ожидали таких успехов, каких они достигли в июле, августе и сентябре. Немцы оказались слабее, чем предполагалось.

Затем он сообщил последние сведения о положении на советском фронте. На некоторых участках русские замедлили

наступление, на других совсем приостановили, а на Украине, к западу и к югу от Киева, инициатива в последние три недели перешла в руки немцев. Немцы снова захватили Житомир и, вероятно, снова займут Коростень. Их целью является вторичный захват Киева. Тем не менее в основном инициатива по-прежнему находится в руках Советской Армии.

Меня спрашивали, сказал он, каким образом англо-американские войска могут лучше помочь России. Италия не является подходящим плацдармом для вторжения в Германию. Мешают Альпы. Поэтому концентрация крупных сил в Италии для вторжения в Германию ничего не даст. Турция была бы лучшим подступом, чем Италия, но она находится далеко от сердца Германии. По его мнению, Северная или Северо-Западная Франция является самым подходящим местом для высадки англо-американских войск, хотя немцы действительно будут там отчаянно сопротивляться.

Мне предлагали выступить раньше, однако я пока воздерживался от этого. Теперь я решил изложить позицию Англии.

Уже давно решено с Соединенными Штатами, сказал я, что нам надо вторгнуться через Ла-Манш в Северную или Северо-Западную Францию. Именно эту цель преследует большинство наших подготовительных мероприятий, и на ее достижение отведена большая часть наших ресурсов. Потребовался бы целый том цифр и фактов, чтобы показать, почему невозможно было осуществить эту операцию в 1943 году. Но мы решили провести ее в 1944 году.

В 1943 году вместо вторжения через Ла-Манш мы предприняли ряд операций в Средиземном море. Это было сделано с полным сознанием того, что они носят второстепенный характер, но мы считали, что это самое большее, что мы могли сделать в 1943 году, учитывая наши ресурсы и транспортные возможности. Английское и американское правительства поставили перед собой задачу предпринять вторжение через Ла-Манш в конце весны или летом 1944 года. Силы, которые можно будет накопить к тому времени, будут состоять из 16 английских и 19 американских дивизий – в общей сложности из 35 дивизий. Эти дивизии как по численности, так и по вооружению значительно сильнее немецких.

* * *

Сталин заметил, что он никогда не считал операции в

Средиземном море второстепенными. Они имели первостепенное значение, но не с точки зрения вторжения в Германию. Я ответил, что тем не менее мы с президентом считали их ступенями к решающей операции через Ла-Манш.

Если учесть, что английские войска заняты на Средиземном море и в Индии, то 16 английских дивизий, выделенных для операции через Ла-Манш, – это максимум того, что может выставить страна с населением в 45 миллионов человек. Эти дивизии можно будет содержать в полном штатном составе, но число их увеличить нельзя. Придется Соединенным Штатам, у которых имеется много резервных дивизий, расширять и питать фронт. Однако до весны и лета 1944 года остается еще шесть месяцев, и мы с президентом задались вопросом, что можно за эти шесть месяцев сделать с нашими наличными ресурсами на Средиземном море для того, чтобы максимально облегчить бремя России и в то же время не задержать операцию «Оверлорд» более чем на месяц или на два.

Семь лучших англо-американских дивизий и некоторое количество десантных судов уже отправлены или отправляются из Средиземного моря в Соединенное Королевство. Это привело к ослаблению наших усилий на Итальянском фронте. Погода плохая, и мы до сих пор не смогли занять Рим. Но мы надеемся занять его к январю. А генерал Александер, который под началом генерала Эйзенхауэра командует 15-й группой армий в Италии, намерен не только занять Рим, но и уничтожить или захватить в плен десять-одиннадцать германских дивизий.

Я пояснил, что мы не намечали продвижения в широкую часть итальянского «сапога» и тем более вторжения в Германию через Альпы. Генеральный план предусматривал сначала занятие Рима и аэродромов к северу от него, что позволило бы нам бомбить Южную Германию, а затем закрепление на линии в направлении Пиза, Римини. После этого должен был быть рассмотрен план создания третьего фронта в соответствии с операцией вторжения через Ла-Манш, но не вместо нее. Существовали две возможности: первая – продвинуться в Южную Францию и вторая, предложенная президентом, – начать продвижение на северо-восток от Адриатического моря в сторону Дуная.

Встает вопрос, что же нам делать в следующие шесть месяцев? Можно многое сказать в поддержку Тито, который сковывает больше германских дивизий и делает больше для союзников, нежели четники Михайловича. Можно было бы, несомненно, извлечь большую пользу от поддержки его снаряжением, но это не отвлекло бы сколько-нибудь

значительного числа вражеских солдат. В связи с этим перед нами встает крупнейшая проблема, к разрешению которой можно было бы приступить после того, как ее обсудят войсковые штабы, – проблема вовлечения Турции в войну и открытия доступа через Эгейское море в Дарданеллы и, следовательно, в Черное море. Как только Турция вступит в войну и предоставит нам свои авиабазы, мы сможем захватить острова в Эгейском море сравнительно небольшими силами, порядка двух-трех дивизий плюс авиация, уже находящаяся на этом театре войны. Если бы был открыт доступ в черноморские порты, конвои могли бы идти непрерывно. В настоящее время мы вынуждены ограничиться четырьмя конвоями, идущими Северным путем, поскольку эскортные корабли нужны для операции «Оверлорд». Но как только Дарданеллы будут открыты, эскортные суда, уже находящиеся в Средиземном море, могли бы поддерживать непрерывный поток материалов в советские черноморские порты.

Как нам убедить Турцию вступить в войну? Если она вступит, что мы должны у нее просить? Должна ли она просто предоставить нам свои базы или же она должна выступить против Болгарии и объявить войну Германии? Должны ли ее войска двинуться вперед или им следует оставаться на границе Фракии? Какое это окажет влияние на Болгарию, которая глубоко обязана России за спасение в свое время от турецкого ига? Как будет реагировать Румыния? Она уже зондировала почву относительно безоговорочной капитуляции. Затем имеется еще Венгрия. По какому пути она пойдет? Вполне возможен коренной политический сдвиг в странах-сателлитах, что позволило бы грекам восстать и вытеснить немцев из Греции.

Все это вопросы, по которым у представителей СССР имеется своя информация и своя особая точка зрения. Крайне важно знать, каково их мнение на этот счет. Соответствуют ли эти планы операций в восточной части Средиземного моря интересам Советского правительства настолько, что оно согласится на их осуществление, даже если это на месяц или два отодвинет начало операции «Оверлорд», назначенной на 1 мая? Английское и американское правительства сознательно не принимали окончательного решения по этому вопросу, желая выяснить позицию Советского правительства.

Президент напомнил мне в этот момент еще об одном плане – плане продвижения в северную часть Адриатики и затем на северо-восток – к Дунаю. Я согласился и сказал, что, как только мы займем Рим и разгромим немецкие армии южнее Апеннин в узкой части Италии, англо-американские армии продвинутся достаточно далеко для того, чтобы войти в соприкосновение с

противником. Тогда мы могли бы удерживать линию при помощи минимального количества войск и сохранить за собой возможность, используя оставшиеся войска, нанести удар либо по Южной Франции либо, в соответствии с предложением президента, на северо-восток от северной части Адриатики. Ни одна из этих перспектив не обсуждалась подробно, но если бы Сталин отнесся к ним благосклонно, то можно было бы создать технический подкомитет, который занялся бы изучением путей и средств, фактов и цифр и представил бы доклад конференции.

* * *

Дискуссия подошла затем к критическому моменту.

В протоколах записано:

«Маршал Сталин обратился к премьер-министру со следующими вопросами:

Вопрос: Правильно ли я понял, что вторжение во Францию должно быть предпринято силами тридцати пяти дивизий?

Ответ: Да. Особенно сильных дивизий.

Вопрос: Существует ли намерение предпринять эту операцию силами, находящимися сейчас в Италии?

Ответ: Нет. Семь дивизий уже переброшены или находятся в процессе переброски из Италии и Северной Африки для участия в операции «Оверлорд». Эти семь дивизий необходимы, чтобы дополнить имеющееся число дивизий и довести их до тридцати пяти, упомянутых в вашем первом вопросе. За вычетом семи этих дивизий на Средиземном море еще останется около двадцати двух дивизий для Италии или других объектов. Часть из них может быть использована либо для операции против Южной Франции, либо для наступления в северной части Адриатического моря в сторону Дуная. Обе эти операции будут приурочены к операции «Оверлорд». Тем временем можно было бы без труда выделить две-три дивизии для захвата островов на Эгейском море».

Затем я пояснил, что нет никакой возможности перебросить со Средиземного моря в Соединенное Королевство какие-либо другие дивизии сверх семи упомянутых. Для этого не хватит судов. Тридцать пять англо-американских дивизий будет собрано в Соединенном Королевстве для первоначального штурма. После этого англичане смогут только поддерживать свои шестнадцать дивизий в Северной Франции, однако Соединенные Штаты будут продолжать подбрасывать все новые войска до тех пор, пока экспедиционные силы в Северной Франции не достигнут

пятидесяти или шестидесяти дивизий. Каждая английская и каждая американская дивизия, если учитывать войска на коммуникационных линиях, корпусные части, зенитные части и т. д., насчитывает в общей сложности около 40 тысяч человек. В Соединенном Королевстве уже сконцентрированы значительные англо-американские военно-воздушные силы, и тем не менее в ближайшие шесть месяцев американские военно-воздушные силы будут удвоены или даже утроены. Таким образом, в районе, откуда можно легко нанести удар противнику, будет сконцентрировано огромное количество авиации. Войска и снаряжение накапливаются согласно заранее намеченному плану, с которым советские представители смогут ознакомиться, если пожелают.

Сталин спросил меня насчет операции против Южной Франции. Я сказал, что пока еще нет подробных планов, но идея заключается в том, что эта операция должна быть начата в соответствии или одновременно с операцией «Оверлорд». Штурмовые войска будут состоять из солдат, находящихся сейчас в Италии. Я добавил, что необходимо будет также рассмотреть предложение президента о наступлении на северо-восток с северной части Адриатического моря.

Сталин спросил, сколько англо-американских, войск надо будет выделить, если Турция вступит в войну?

Отметив, что я выражаю только свое личное мнение, я сказал, что потребуется самое большее две или три дивизии для того, чтобы занять острова в Эгейском море, и, кроме того, нам, вероятно, придется дать Турции около двадцати авиаэскадрилий и несколько зенитных полков для ее защиты. Как авиаэскадрильи, так и зенитные части могут быть выделены без ущерба для других операций.

Сталин считал, что было бы ошибкой посылать часть наших войск в Турцию и в другие места и часть в Южную Францию. Наиболее правильно было бы сделать «Оверлорд» главной операцией в 1944 году и, как только Рим будет занят, послать все имеющиеся в Италии войска в Южную Францию. Эти войска могли бы потом, когда начнется вторжение, соединиться с войсками «Оверлорд». Франция является самым слабым звеном на германском фронте. Он лично не думает, что Турция согласится вступить в войну.

* * *

Затем я сказал, что полностью согласен с замечаниями

маршала Сталина о нежелательности распыления сил, но осуществление моего предложения потребует только горстки дивизий – двух или трех, которые могли бы быть хорошо использованы для установления контакта с Турцией. Что же касается авиации, то можно будет использовать военно-воздушные силы, которые защищают Египет; они лишь передвинутся на более передовые базы. Таким образом, не потребуется значительного отвлечения сил ни с итальянского фронта, ни от операции «Оверлорд».

Сталин считал, что вполне имело бы смысл занять эти острова, если бы это можно было сделать тремя или четырьмя дивизиями.

Я сказал, что меня больше всего тревожит интервал шестимесячной бездеятельности между захватом Рима и операцией «Оверлорд». Мы должны бить противника все время, и поэтому предложенные мною операции, хотя они, безусловно, имеют второстепенный характер, должны быть внимательно обсуждены.

Сталин повторил, что «Оверлорд» является очень серьезной операцией и что лучше помочь ее осуществлению путем вторжения в Южную Францию. Он даже предпочел бы занять оборонительную позицию в Италии и воздержаться пока от занятия Рима, если бы вместо этого можно было вторгнуться в Южную Францию, скажем, десятью дивизиями. Спустя два месяца последовала бы операция «Оверлорд», и тогда обе армии вторжения могли бы соединиться.

Я ответил, что мы не станем сильнее, если откажемся от наступления на Рим; наоборот, как только мы займем город, наши позиции укрепятся в результате уничтожения или разгрома десяти-одиннадцати германских дивизий. Кроме того, нам нужны аэродромы к северу от Рима для бомбардировки Германии. Мы не можем отказаться от занятия Рима – это рассматривалось бы всеми как сокрушительное поражение, и английский парламент ни за что не согласится на это.

Президент затем заявил, что сроки операций должны быть обсуждены самым внимательным образом. Любая операция в восточной части Средиземного моря повлекла бы за собой отсрочку операции «Оверлорд» до июня или до июля. Он лично против такой отсрочки, если ее можно избежать. Поэтому он предложил, чтобы военные эксперты рассмотрели возможности операции против Южной Франции в сроки, предложенные Сталиным, то есть за два месяца до операции «Оверлорд», причем исходить надо из того, что операция «Оверлорд» должна начаться в намеченное время.

Сталин заявил, что опыт, накопленный Советским Союзом за последние два года войны, показал, что крупное наступление, предпринятое только с одного направления, редко дает результаты.

Лучше всего начать наступление одновременно с двух или больше направлений. Это заставляет противника распылять свои силы и в то же время создает возможности для атак при условии, что эти направления настолько близки друг к другу, что можно установить контакт и увеличить силу наступления в целом. Он сказал, что этот принцип вполне применим и к обсуждаемой проблеме.

Я в принципе не возражал против этой точки зрения.

Сделанные мною предложения об оказании небольшой помощи Югославии и Турции, сказал я, отнюдь не противоречат этой общей установке. В то же время я прошу отметить, что я ни при каких обстоятельствах не соглашусь приостановить операции средиземноморских армий, включающих двадцать английских и подчиненных англичанам дивизий, к тому же только для того, чтобы точно выдержать срок – первое мая – начала операции «Оверлорд». Если Турция откажется вступить в войну, – что же, ничего не поделаешь. Я искренне надеюсь, что с меня не потребуют согласия на такие жесткие сроки операций, какие предлагает президент.

* * *

В воскресенье вечером 28 ноября президент Рузвельт пригласил нас на обед. Нас было человек десять или одиннадцать, включая переводчиков, и беседа вскоре приняла общий и серьезный характер.

Я предложил обсудить польский вопрос. Сталин согласился и предложил мне начать. Я сказал, что мы объявили войну из-за Польши, поэтому Польша имеет для нас большое значение. Нет ничего важнее, чем безопасность западной границы России. Однако я не давал никаких обещаний относительно границ. Мне хотелось бы поговорить по душам с русскими по этому вопросу. Если маршал Сталин пожелает сказать нам, что он примерно думает, можно было бы обсудить этот вопрос и достигнуть некоторого соглашения. Маршал должен сказать мне, что он считает необходимым для защиты западных границ России.

После этой войны в Европе, которая, возможно, закончится в 1944 году, Советский Союз будет исключительно сильным и Россия будет нести большую ответственность за любое решение,

которое она примет в отношении Польши. Лично я считал, что Польша может продвинуться на запад, подобно солдатам, по команде «два шага влево». Если Польша наступит при этом кое-где на ногу Германии, то ничего не поделаешь, но сильная Польша необходима. Польша является инструментом, необходимым для европейского оркестра.

Сталин сказал, что польский народ имеет свою культуру и свой язык, которые должны быть сохранены. Их невозможно уничтожить.

«Не попытаемся ли мы, – спросил я, – наметить линии границ?»

«Да».

«У меня нет никаких полномочии от парламента определять границы, и, как я полагаю, их нет и у президента. Однако мы можем здесь, в Тегеране, проверить, смогут ли главы трех правительств, действия в согласии, наметить определенную политику, которую мы могли бы рекомендовать полякам и посоветовать им принять ее».

Мы согласились изучить эту проблему. Сталин спросил, должны ли мы это делать без участия поляков. Я ответил «да» и сказал, что позже, когда все будет неофициально согласовано между нами, мы сможем обратиться к полякам. Тут Иден отметил, что его очень поразило заявление Сталина о том, что поляки могут продвинуться на запад вплоть до Одера. Он считает, что это заявление имеет обнадеживающий характер и он весьма этим доволен.

Сталин спросил, не думаем ли мы, что он собирается проглотить Польшу. Иден ответил, что он не знает, сколько Россия собирается съесть, а сколько она оставит непереваренным. Сталин сказал, что русские не хотят ничего, что принадлежит другому народу, хотя они, возможно, откусят что-нибудь у Германии. Иден сказал, что то, что Польша потеряет на востоке, она может получить на западе. Сталин ответил, что такая возможность существует, но он не знает, как поступить в данном деле. Тогда я показал при помощи трех спичек, как я себе мыслю передвижение Польши на запад. Это понравилось Сталину, и на этом мы разошлись.

* * *

Перед нашим вторым пленарным заседанием, начавшимся 29-го в 4 часа, я по поручению короля вручил Почетный меч, который был изготовлен по специальному заказу его величества в

честь славной обороны Сталинграда. Большой зал был заполнен русскими офицерами и солдатами. Когда после нескольких пояснительных слов я вручил это великолепное оружие маршалу Сталину, он весьма внушительным жестом поднес его к губам и поцеловал. Затем он передал меч Ворошилову, который его уронил. Меч был вынесен из зала с большой торжественностью в сопровождении русского почетного караула. Когда эта процессия удалилась, я заметил, что президент, сидевший сбоку, был явно взволнован этой церемонией. После этого мы перешли в зал заседаний и заняли свои места за круглым столом, на сей раз вместе с начальниками штабов, которые должны были доложить нам о результатах своих утренних трудов.

Начальник имперского генерального штаба сообщил, что они рассмотрели ряд операций и пришли к выводу, что если в Средиземном море ничего не будет предпринято до начала операции «Оверлорд», немцы смогут перебросить войска из Италии в Россию или в Северную Францию. Они рассмотрели план продвижения вверх по Итальянскому полуострову, план усиления партизанского движения в Югославии, с тем чтобы оно могло сковать германские дивизии на Балканах, и план вовлечения Турции в войну. Они также обсудили вопрос о высадке в Южной Франции, которая должна совпасть с операцией «Оверлорд». Портал сделал обзор наступления нашей бомбардировочной авиации, а Маршалл доложил о ходе сосредоточения американских вооруженных сил в Англии.

Затем я взял слово. Первый вопрос – какую помощь могут оказать операции «Оверлорд» крупные вооруженные силы, уже сосредоточенные на Средиземном море? В частности, каковы масштабы операций, которые могут быть начаты против Южной Франции войсками, находящимися в Италии? Об этом плане уже упоминали президент и Сталин, но он еще не был изучен достаточно подробно для того, чтобы можно было высказать окончательное мнение. Сталин совершенно правильно подчеркнул значение клещеобразных операций, однако было бы явно бесполезно предпринимать наступление малыми силами, которые могли бы быть истреблены до прибытия главных сил. Высказывая свое личное мнение, я заявил, что на Средиземном море следует оставить такое количество десантных судов, которое было бы достаточно для переброски, по меньшей мере, двух дивизий. При наличии этих десантных средств мы могли бы поддержать наступление вверх по итальянскому «сапогу» десантными фланговыми ударами и, таким образом, избежать медленных и трудных методов фронтальной атаки. Кроме того, наличие этих десантных судов дало бы нам возможность занять

остров Родос и открыть доступ в Эгейское море одновременно с вступлением Турции в войну. Используя эти же десантные суда, мы могли бы через пять или шесть месяцев высадиться в Южной Франции, приурочив эту высадку к началу операции «Оверлорд».

Конечно, сроки всех этих операций должны быть изучены и скоординированы самым тщательным образом, но есть полное основание надеяться, что все, о чем я упоминал, может быть осуществлено. С другой стороны, совершенно очевидно, что если десантные суда, достаточные для транспортировки двух дивизий, будут оставлены на Средиземном море, то это повлечет за собой либо перенесение срока начала операции «Оверлорд» на шесть или восемь недель либо отзыв с востока кораблей и десантных судов, посланных туда для военных действий против Японии. Это ставит нас перед дилеммой.

Второй вопрос – о Югославии и далматинском побережье. Партизанские силы на Балканах сковывают не менее двадцати одной германской дивизии. Помимо этого имеется девять болгарских дивизии в Греции и Югославии. Таким образом, тридцать вражеских дивизий сковываются этими доблестными партизанами. Поэтому Балканский театр военных действий является одним из таких театров, на котором мы можем заставить противника напрячь его силы до предела и облегчить себе положение в предстоящих тяжелых боях. У нас нет никаких притязаний на Балканах. Наше единственное желание заключается в том, чтобы сковать эти тридцать вражеских дивизий. Мы полны решимости работать в полном согласии с ними. С военной точки зрения речь идет не об использовании крупных вооруженных сил в этом районе. Требуется только одно – оказать партизанам помощь материалами, снаряжением и диверсионно-десантными операциями.

Третий и последний вопрос – о Турции. Великобритания является союзником Турции и взяла на себя задачу уговорить или убедить Турцию вступить в войну до рождества. Если президент готов вмешаться на данном этапе и взять на себя инициативу, английское правительство будет радо этому. Я сказал, что могу от имени правительства его величества дать заверение в том, что Англия готова на многое ради того, чтобы вовлечь Турцию в войну. С военной точки зрения вступление Турции в войну отвлечет не больше двух или трех союзных дивизий. Затем я спросил о позиции Советского правительства в отношении Болгарии. Цель всех операций на Средиземном море, которые я имею в виду, заключается в том, чтобы облегчить положение России и обеспечить наилучшие возможности для осуществления операции «Оверлорд».

* * *

Я говорил около десяти минут. Затем наступила пауза.

После этого Сталин перешел к изложению своего мнения о Балканах. Он сказал, что расхождений во взглядах, по-видимому, не существует и что он поддерживает предложение о всемерной помощи партизанам. Однако он прямо заявил, что вступление Турции в войну, оказание поддержки Югославии и занятие Рима имеют, с точки зрения русских, сравнительно небольшое значение. Если конференция созвана для того, чтобы обсудить военные вопросы, то операции «Оверлорд» должно быть отведено первое место.

Если в соответствии с внесенным здесь предложением будет создана комиссия по военным вопросам, то ей необходимо будет дать совершенно точные инструкции о том, какие задачи она должна будет выполнить. Русским нужна помощь, и неотложная помощь, в их великой борьбе против германской армии. Такая помощь может быть лучше всего оказана скорейшим и энергичным осуществлением операции «Оверлорд». Необходимо решить три главных вопроса.

Первый вопрос – срок; начало операции должно быть назначено на май, но никак не позже. Второй – операция «Оверлорд» должна быть поддержана высадкой в Южной Франции. Если это может быть сделано за два или за три месяца до операции «Оверлорд», тем лучше. Если это невозможно, то высадка должна совпасть с операцией «Оверлорд». Если же это не удастся осуществить и десант начнется несколько позже, он все равно будет служить подспорьем главной операции. Наступление на Южную Францию в качестве вспомогательной операции будет весьма полезно для операции «Оверлорд». Занятие Рима и другие операции на Средиземном море могут рассматриваться лишь как отвлекающие операции.

Третий вопрос, требующий решения, – это назначение главнокомандующего войсками в операции «Оверлорд. Сталин заявил, что он хотел бы, чтобы это было сделано до окончания конференции или в крайнем случае через неделю после ее окончания. Подготовка к операции «Оверлорд» не может быть осуществлена успешно без верховного главнокомандующего. Выбор кандидатуры верховного главнокомандующего – это, конечно, дело английского и американского правительств, однако Советское правительство хотело бы знать, кто именно будет назначен.

Президент сказал, что все мы согласны по поводу значения операции «Оверлорд», но не по поводу ее срока. Если операция

«Оверлорд» должна быть осуществлена в течение мая, то, по меньшей мере, от одной из средиземноморских операций надо отказаться. Если же десантные суда и другое снаряжение будут оставлены на Средиземном море, тогда операцию «Оверлорд» придется отложить до июня или июля. Существует очевидная опасность отсрочки операции «Оверлорд». Если мы предпримем экспедиции в восточной части Средиземного моря даже силами только двух или трех дивизий, то всегда будет существовать опасность их перерастания в более крупные операции, которые потребуют использования более крупных сил. Если это случится, тогда даже более поздний срок операции «Оверлорд» окажется под угрозой.

* * *

Затем Рузвельт коснулся моего заявления о тридцати германских и болгарских дивизиях, скованных на Балканах. Он предложил сковать их более основательно при помощи диверсионно-десантных операций. Очень важно удержать их в этом районе и не позволить им причинять ущерб где-либо в другом месте. Все согласны с тем, что Тито надо поддержать, но это должно быть сделано не в ущерб операции «Оверлорд».

Сталин заявил, что, по имеющимся у него сведениям, немцы имеют восемь дивизии в Югославии, пять в Греции, три в Болгарии и двадцать пять дивизий во Франции. Он не согласен на то, чтобы перенести срок операции «Оверлорд» дальше мая.

Я заявил, что не могу дать такого обязательства. Тем не менее я не считаю, что имеются какие-либо серьезные расхождения в до сих пор выраженных взглядах. Я готов сделать все, что только в силах правительства его величества, чтобы начать операцию «Оверлорд» как можно раньше, но считаю, что великие возможности, открывающиеся на Средиземном море, не должны быть безжалостно принесены в жертву и отброшены как не имеющие никакого значения только ради того, чтобы сэкономить месяц или около этого в сроке начала операции «Оверлорд».

На Средиземном море находится крупная английская армия, и я не могу согласиться на то, чтобы она бездействовала в течение примерно шести месяцев. Она должна сражаться с противником самым энергичным образом вместе с ее американскими союзниками. Я твердо надеюсь, что английские и американские войска вместе уничтожат значительные немецкие силы в Италии и, продвинувшись к северу от Рима, скуют

многочисленную германскую армию на итальянском фронте. Оставаться неподвижными и инертными в Италии в течение примерно шести месяцев значило бы неправильно использовать наши вооруженные силы и навлечь на себя упреки в том, что русские несут на себе почти все бремя войны на суше. Сталин сказал, что он никогда не предлагал полного прекращения всех операций в Италии в течение зимы.

Я разъяснил, что, если десантные суда будут переброшены из Средиземного моря, это будет означать определенное свертывание там наших операций. Я напомнил Сталину три условия, от которых зависит успех операции «Оверлорд». Во-первых, до начала наступления необходимо добиться значительного ослабления германской истребительной авиации в Северо-Западной Европе. Во-вторых, германские резервы во Франции, Бельгии и Голландии должны ко дню высадки насчитывать не более 12 полностью укомплектованных первоклассных дивизий в течение первых 60 дней операции. Для обеспечения этих условий мы должны сковать как можно больше германских дивизий в Италии и Югославии. Если Турция вступит в войну, это послужит нам дополнительной помощью, но это не является необходимым условием. Немцы, находящиеся сейчас в Италии, большей частью прибыли из Франции. Если мы ослабим наше давление в Италии, они вернутся обратно. Мы должны воевать с противником на том единственном фронте, на котором мы сейчас можем сражаться с ним. Если мы будем как можно ожесточеннее сражаться с ним в зимние месяцы на Средиземном море, это послужит наилучшей помощью для обеспечения условий, необходимых для успешного исхода операции «Оверлорд».

…Перед тем как мы разошлись, Сталин посмотрел на меня через стол и сказал: «Я хочу задать премьер-министру весьма прямой вопрос насчет операции „Оверлорд“. Верят ли действительно премьер-министр и английский штаб в операцию „Оверлорд“?» Я ответил: «Если изложенные выше условия осуществления операции „Оверлорд“ будут созданы, когда наступит время, мы будем считать своим неуклонным долгом бросить через Ла-Манш против немцев все имеющиеся у нас силы». На этом мы разошлись.

* * *

30 ноября было для меня очень хлопотливым днем:
это было 69-летие со дня моего рождения. До сих пор мы

собирались для наших заседаний и обедов в советском посольстве. Но теперь я заявил, что третий обед даю я и он должен состояться в английской миссии. Никто не мог против этого возражать. По алфавиту и Великобритания и я сам стояли первыми, а по возрасту я был лет на пять старше Рузвельта и Сталина. Из трех правительств наше старше других на целые столетия. Я мог бы также добавить, но не сделал этого, что мы дольше всех воюем; наконец, я сказал, что 30 ноября мой день рождения. Эти аргументы, в особенности последний, оказались решающими, и наш посланник сделал все необходимые приготовления к обеду примерно на 40 человек, включая не только политических и военных руководителей, но и некоторых ответственных работников их аппарата.

Советская политическая полиция, НКВД, настояла на том, чтобы обыскать здание английской дипломатической миссии снизу доверху, заглядывая за каждую дверь и под каждую подушку, перед тем как прибыл Сталин. Около 50 вооруженных русских полицейских под началом своего собственного генерала стали около всех дверей и окон. Сотрудников американской тайной полиции также было достаточно. Однако все прошло хорошо. Сталин, прибывший под усиленной охраной, был в прекрасном настроении, а президент, сидя в своем кресле, смотрел на нас с сияющей улыбкой.

Это был памятный день в моей жизни. Справа от меня сидел президент Соединенных Штатов, слева – хозяин России. Вместе мы фактически контролировали все флоты и три четверти всей авиации в мире и управляли армиями примерно в 20 миллионов человек, участвовавшими в самой ужасной из всех войн в истории человечества.

Когда наступило время, я предложил тост за здоровье наших знаменитых гостей, а президент предложил тост за мое здоровье и пожелал мне много лет здравствовать. После него выступил Сталин в таком же духе. Затем было предложено много неофициальных тостов, согласно русскому обычаю, который, безусловно, очень хорошо подходит для банкетов такого рода. Гопкинс произнес веселую речь, а которой сказал, что он «очень долго и глубоко изучал английскую конституцию, которая не зафиксирована на бумаге, и деятельность военного кабинета, полномочия и состав которого нигде конкретно не определены». В результате этого изучения, сказал он, «я убедился, что статьи британской конституции и полномочия военного кабинета означают именно то, что Уинстон Черчилль хочет, чтобы они означали в каждый данный момент». Это вызвало общий смех.

Я действительно пользовался лояльной поддержкой в

руководстве войной со стороны парламента и моих коллег по кабинету, и эта поддержка оказывалась мне в такой полной мере, какая, возможно, и в самом деле являлась беспрецедентной. Число таких случаев, когда бы в важных вопросах мое мнение не восторжествовало, было очень невелико. Но я не без гордости не раз напоминал моим обоим великим товарищам, что из нашей тройки я – единственный, кого могут в любой момент отстранить от власти голосованием в палате общин, свободно избранной на основании всеобщих выборов, и кто подчинен повседневному контролю военного кабинета, представляющего все партии в государстве.

Срок пребывания президента у власти твердо установлен, а его полномочия не только как президента, но и как главнокомандующего являются в соответствии с американской конституцией почти неограниченными. Сталин обладал всей полнотой власти в России. Они оба могли приказывать. Я же должен был уговаривать и убеждать. Но я был доволен таким положением вещей. Система была сложной, однако у меня не было оснований жаловаться на то, как она действовала.

* * *

Во время обеда было произнесено много речей, и большинство самых видных гостей, включая Молотова и генерала Маршалла, тоже внесли свой вклад. Но больше всего мне запомнилась речь генерала Брука. Я привожу ее согласно отчету, любезно написанному им для меня:

«Примерно в середине обеда президент любезно предложил тост за мое здоровье, вспомнив те времена, когда мой отец посетил его отца в Гайд-парке. Когда он заканчивал свой тост, а я думал над тем, как лучше ответить на его любезные слова, Сталин поднялся и сказал, что он хочет продолжить этот тост. Он начал говорить о том, что я не проявил настоящих дружественных чувств к Красной Армии, что я недооцениваю ее замечательных качеств и что он надеется в будущем на более товарищеское с моей стороны отношение к солдатам Красной Армии!

Я был крайне удивлен этим обвинением, поскольку не мог понять, на чем оно основано. Однако к тому времени я уже достаточно хорошо знал Сталина и понимал, что если я ничего не отвечу на эти оскорбления, то тем самым потеряю всякое уважение, какое он когда-либо мог питать ко мне, и что он будет продолжать подобные нападки и впредь.

Поэтому я встал, чтобы как можно учтивее поблагодарить

президента за его любезные слова, а затем обратился к Сталину примерно со следующими словами:

«Теперь, маршал, разрешите мне ответить на Ваш тост.

Я удивлен тем, что Вы сочли нужным выдвинуть против меня совершенно необоснованные обвинения. Вы, вероятно, помните, что сегодня утром, когда мы обсуждали планы маскировки, г-н Черчилль сказал, что «в военное время правда должна иметь целый эскорт лжи». Вы, наверное, также помните, как сами рассказывали нам, что при всех Ваших великих наступлениях Вы всегда скрывали свои истинные намерения от внешнего мира. Вы рассказали нам, что Ваши макеты танков и макеты самолетов сосредоточивались на тех фронтах, которые представляли непосредственный интерес, в то время как Ваши истинные намерения были окутаны строжайшей тайной.

Да, маршал, Вы были введены в заблуждение макетами танков и самолетов, и Вы не смогли распознать те чувства искренней дружбы, которые я питаю к Красной Армии, и те чувства подлинного товарищества, с которыми я отношусь ко всему ее составу».

Пока Павлов фразу за фразой переводил это Сталину, я внимательно наблюдал за последним. Выражение его лица было непроницаемым. Однако в конце он повернулся ко мне и сказал с видимым удовольствием: «Этот человек мне нравится. Он говорит правду. Я должен с ним потом потолковать».

Затем мы перешли в приемную и там прохаживались группами. Я чувствовал, что мы достигли такой солидарности и такого настоящего товарищества, каких никогда прежде не достигали в этом великом союзе. Прохаживаясь вокруг, я увидел, что Сталин стоит в тесном кругу рядом с Бруки, как я его называю. Отчет генерала об этом разговоре гласит:

«Когда мы вышли из комнаты, премьер-министр сказал мне, что он несколько волновался, не зная, что я скажу после того, как я упомянул о „правде“ и „лжи“. Однако он успокоил меня, сказав, что мой ответ на тост произвел на Сталина надлежащее впечатление. Поэтому я решил возобновить атаку в приемной. Я подошел к Сталину и сказал ему, что был удивлен и огорчен тем, что он счел нужным выдвинуть против меня такие обвинения в своем тосте. Он тут же ответил через Павлова: „Лучшая дружба та, которая начинается с недоразумений“, – и тепло пожал мне руку».

Мне казалось, что все тучи рассеялись. И действительно, доверие Сталина к моему другу было установлено на основе уважения и доброжелательства, которые на протяжении всей нашей совместной работы никогда не были нарушены.

Наверное, было уже более 2 часов ночи, когда мы наконец разошлись. Маршал отдал себя на попечение своего эскорта и отбыл, а президента повезли на квартиру в советское посольство. Я лег в постель усталый донельзя, но довольный, чувствуя, что ничего, кроме хорошего, не было сделано. Этот день рождения был для меня действительно счастливым днем.

* * *

Некоторые из важнейших политических вопросов, стоявших перед нами, все еще оставались открытыми даже после принятия главных решений стратегического характера. 1 декабря «тройка» снова собралась за завтраком у президента в советском посольстве. После некоторого промежутка времени, когда завтрак уже закончился, мы перешли в другую комнату и заняли свои места за столом конференции. Наше обсуждение продолжалось в течение всей второй половины дня. Следующим важным вопросом был вопрос о Польше.

Президент начал с выражения надежды, что польское и Советское правительства возобновят свои отношения, чтобы любое достигнутое решение могло быть принято польским правительством. Однако он признал, что имеются трудности. Сталин спросил, с каким правительством ему вести переговоры. Польское правительство и его друзья в Польше поддерживают связь с немцами. Они убивают партизан. Ни президент, ни я не имеем никакого представления о том, что сейчас происходит в Польше.

Я сказал, что для Соединенного Королевства польский вопрос является важным, ибо мы объявили Германии войну за то, что она вторглась в Польшу. Хотя Великобритания еще не была подготовлена, нападение Германии на Польшу вовлекло нас в войну. Я вернулся к своей иллюстрации при помощи трех спичек – Германия, Польша и Советский Союз. Одна из главных целей союзников – обеспечение безопасности западной границы Советского Союза и, таким образом, предотвращение нападения со стороны Германии в будущем. При этом я напомнил Сталину об упоминании им линии Одера на западе.

Сталин, прервав меня, сказал, что раньше не было никакого разговора о восстановлении отношений с польским правительством и речь шла только об определении польских границ. Сегодня этот вопрос ставится совсем иначе. Россия даже больше, чем другие государства, заинтересована в хороших отношениях с Польшей, ибо для нее это является вопросом

безопасности ее границ. Россия – за восстановление, развитие и расширение Польши главным образом за счет Германии. Однако он делает различие между Польшей и польским эмигрантским правительством в изгнании не из-за каприза, а потому, что оно присоединилось к клеветнической пропаганде Гитлера против России.

Какая существует гарантия, что это не повторится? Он хотел бы иметь гарантию, что польское эмигрантское правительство не будет убивать партизан, а, наоборот, будет призывать поляков бороться с немцами и не будет заниматься никакими махинациями. Он будет приветствовать любое польское правительство, какое предпримет подобные активные меры, и он был бы рад возобновить с ним отношения. Но он отнюдь не уверен в том, что польское эмигрантское правительство когда-нибудь сможет стать таким правительством, каким ему следовало бы быть.

Тут я заявил, что было бы очень хорошо, если бы за этим круглым столом мы могли узнать взгляды России в отношении границ. Тогда я поставил бы этот вопрос перед поляками и прямо сказал бы им, считаю ли я эти условия справедливыми. Правительство его величества, а я выступаю только от его имени, хотело бы получить возможность заявить полякам, что этот план – хороший и даже самый лучший из всех, на какой они могут рассчитывать, и что правительство его величества не будет возражать против него на мирной конференции. После этого мы могли бы заняться предложением президента о возобновлении отношений. Чего мы хотим, так это сильной и независимой Польши, дружественной к России.

* * *

Сталин сказал, что это верно, однако нельзя позволить полякам захватить украинскую и белорусскую территории. Это было бы несправедливо. В соответствии с границей 1939 года земли Украины и Белоруссии были возвращены Украине и Белоруссии. Советская Россия придерживается границ 1939 года, потому что они справедливы с этнической точки зрения.

Иден спросил, означает ли это линию Риббентроп – Молотов.

«Называйте ее, как хотите», – сказал Сталин.

Молотов заметил, что эту линию обычно называют линией Керзона.

«Нет, – сказал Иден, – имеются существенные различия».

Молотов сказал, что никаких различий нет.

Тогда я взял карту и показал линию Керзона и линию 1939 года, а также линию, проходящую по Одеру. Иден сказал, что южная часть линии Керзона никогда точно не была определена.

Участники совещания разбились на группы и собрались возле моей карты и карты американцев; поэтому переводчикам трудно было вести записи.

Иден заявил, что линия Керзона должна была пройти восточнее Львова.

Сталин ответил, что эта линия на моей карте проведена неправильно. Львов должен остаться на русской стороне, и линия должна пройти к западу в направлении Перемышля. Молотов достанет карту с линией Керзона и описание к ней. Сталин заявил, что не желает никакого польского населения и что если где-либо окажется район, населенный поляками, он с удовольствием отдаст его.

Я сказал, что германские земли гораздо ценнее Пинских болот. Это развитые в промышленном отношении районы, и они сыграют свою роль при создании гораздо лучшего польского государства. Мы хотели бы иметь возможность сказать полякам, что русские правы, что они должны согласиться, что с поляками обходятся справедливо. Если же поляки не согласятся, тогда мы ничего не сможем поделать. Здесь я пояснил, что говорю только от имени Англии, добавив, что в Соединенных Штатах имеется много поляков, являющихся согражданами президента.

Сталин снова повторил, что, если будет доказано, что какой-либо район является польским, он не будет претендовать на него, и тут же заштриховал кое-где на карте районы западнее линии Керзона и южнее Вильно, которые, как он сказал, населены главным образом поляками.

Участники заседания снова разбились на группы и в течение длительного времени изучали на карте линию, проходящую по Одеру. Когда это кончилось, я сказал, что мне все это нравится, и я скажу полякам, что, если они не согласятся, они совершат глупость, и напомню им, что, если бы не Красная Армия, они были бы полностью уничтожены. Я скажу полякам, что им дано прекрасное место для существования – территория протяженностью более 300 миль в любой конец.

Сталин сказал, что в самом деле это будет большое промышленное государство.

«И дружественное по отношению к России», – вставил я.

Сталин ответил, что Россия желает дружественной Польши.

Согласно протокольной записи, я после этого сказал Идену несколько подчеркнуто, что я не собираюсь расстраиваться из-за передачи части территории Германии Польше или же из-за

Львова. Иден сказал, что если маршал Сталин примет за основу линию Керзона и линию Одера, то это может послужить началом.

В этот момент Молотов представил русский вариант линии Керзона и текст радиограммы лорда Керзона, в которой перечисляются названия всех пунктов. Я спросил, будет ли Молотов возражать против передачи полякам района Оппельна. Он ответил, что едва ли.

Я сказал, что со стороны поляков будет благоразумно принять наш совет. Я не намерен поднимать шум из-за Львова. Обращаясь к маршалу Сталину, я добавил, что, как мне кажется, между нами нет особых разногласий в принципе. Рузвельт спросил Сталина, считает ли он возможным переселение жителей на добровольной основе. Маршал ответил, что, вероятно, это будет возможно.

На этом мы пока что оставили обсуждение вопроса о Польше.

* * *

Затем президент спросил Сталина, согласен ли он обсудить вопрос о Финляндии. Может ли правительство Соединенных Штатов сделать что-либо для того, чтобы помочь вывести Финляндию из войны?

Сталин сказал, что недавно шведский заместитель министра иностранных дел заявил Коллонтай (советский посол), что финны опасаются намерения со стороны России превратить Финляндию в русскую провинцию. Советское правительство ответило, что у него нет никакого намерения превращать Финляндию в русскую провинцию, если только финны не вынудят его это сделать. Коллонтай было затем дано указание сказать финнам, что Советское правительство не будет возражать против приезда в Москву финской делегации. Однако оно желает, чтобы финны высказали свои взгляды относительно выхода из войны. Здесь, в Тегеране, он только что получил содержание финского ответа. В этом ответе ничего не говорится о желании Финляндии порвать с Германией. В нем ставится вопрос о границах. Финны предлагают в качестве основы для обсуждения границу 1939 года с некоторыми исправлениями в пользу Советского Союза. Сталин считал, что финны не стремятся по-настоящему к серьезным переговорам. Их условия неприемлемы, и финнам это хорошо известно. Финны все еще надеются на победу Германии, и, по крайней мере, некоторые из них твердо верят, что немцы одержат победу.

Рузвельт спросил, имеет ли смысл, чтобы правительство

Соединенных Штатов посоветовало финнам поехать в Москву. Сталин ответил, что они готовы поехать в Москву, но эта поездка будет бесполезна, если они поедут туда со своей нынешней программой.

Я сказал, что в дни первой русско-финской войны я сочувствовал Финляндии, но после того, как она вступила в войну против Советского Союза, я против Финляндии. Россия должна добиться безопасности Ленинграда и подступов к нему. Положение Советского Союза как морской и воздушной державы на Балтике должно быть обеспечено. Однако народ Соединенного Королевства был бы огорчен, если бы финны были включены в состав Советского Союза против их воли. Поэтому я был рад услышать то, что сказал маршал Сталин. Не думаю, что было бы полезно требовать контрибуции. Финны могут срубить некоторое количество деревьев, но едва ли это что-нибудь даст.

Сталин сказал, что ему не нужны деньги, но финны в течение, скажем, пяти или восьми лет вполне могли бы возместить причиненный России ущерб, снабжая ее бумагой, древесиной и многими другими вещами. Он считает, что финнам должен быть преподан урок, и он решил получить компенсацию.

Я сказал, что, как мне представляется, ущерб, который причинили финны, напав на Россию и совершив, таким образом, недостойный и нелепый поступок, значительно превышает то, что может поставить такая бедная страна, как Финляндия. Я добавил, что «у меня в ушах все еще звучит знаменитый лозунг: „Никаких аннексий и контрибуций“. Может быть, маршалу Сталину не понравится, что я говорю это».

Сталин с широкой улыбкой ответил: «Я же сказал Вам, что становлюсь консерватором».

Затем я спросил, чего он хочет. Близится «Оверлорд».

Мне бы хотелось, чтобы к весне Швеция вступила в войну на нашей стороне, а Финляндия вышла из войны. Сталин сказал, что это было бы хорошо.

Затем разговор перешел на территориальные детали:

Выборг («О Выборге нечего и говорить», – сказал Сталин); Карельский перешеек; Ханко. «Если уступка Ханко вызывает трудности, – сказал Сталин, – я готов взять взамен Петсамо». «Справедливая мена», – заметил Рузвельт.

Я сказал, что англичане хотят, во-первых, чтобы Россия была довольна своими границами и, во-вторых, чтобы финны были свободными и независимыми и жили, как сумеют, в этих весьма неудобных районах. Но мы не хотим оказывать какого бы то ни было нажима на Россию. Сталин сказал, что, если на то пошло, союзники могут, если хотят, время от времени нажимать друг на

друга. Но пусть финны живут, как хотят. Все будет в порядке, если они возместят половину причиненного ими ущерба. Рузвельт спросил, принесет ли поездка финнов в Москву, если они не привезут с собой конкретных предложений, какие-либо результаты. Сталин сказал, что, если финны не дадут заверений в том, что будет заключено соглашение, эта поездка в Москву окажется на руку лишь Германии, которая широко использует всякую неудачу. То же самое можно сказать и об агрессивных элементах Финляндии, которые скажут, что русские в действительности не хотят мира.

Я сказал, что это было бы ложью и что все мы громко заявили бы об этом.

«Ладно, – сказал Сталин. – Пусть приезжают, если вы настаиваете».

Рузвельт заявил, что нынешние финские лидеры настроены прогермански. Будь там другие руководители, мы могли бы чего-то добиться. По мнению Сталина, было бы лучше иметь других руководителей, но он не возражает даже против Рюти. Пусть приезжает кто угодно, хотя бы сам черт. Он не боится чертей.

Я выразил надежду, что маршал Сталин подойдет к вопросу о Финляндии с должным учетом возможности вступления Швеции в войну во время нашего общего наступления в мае.

Сталин согласился, но сказал, что он не может отказаться от нескольких условий:

Восстановление договора 1940 года.

Ханко или Петсамо (здесь он добавил, что Ханко был предоставлен Советскому Союзу в аренду, но что он предложит взять Петсамо).

Компенсация натурой до 50 процентов причиненного ущерба.

Вопрос о количествах можно будет обсудить позднее.

Разрыв с Германией.

Высылка всех немцев.

Демобилизация.

Насчет компенсации я ответил, что ущерб причинить легко, но возместить его очень трудно, и что для всякой страны плохо оказаться данником другой. Сталин сказал, что финнам может быть предоставлена возможность оплатить причиненный ими ущерб, скажем, за пять-восемь лет. Я заявил: «Опыт показывает, что возмещения в крупных масштабах неосуществимы». Сталин предложил оккупировать один из районов Финляндии, если финны не заплатят, а если они заплатят, русские уйдут через год.

«Я еще не избран советским комиссаром, – заявил я, – но, будь я им, я бы отсоветовал делать это. Есть гораздо более важные вещи, о которых следует подумать». Мы поддерживаем

русских и готовы помогать им на каждом шагу, но мы должны подумать о майской битве. Президент Рузвельт сказал, что он готов поддержать все, что было сказано (против возмещений в крупных масштабах).

* * *

Затем я вновь перевел разговор на Польшу. Я сказал, что не прошу ни о каком соглашении и что сам не убежден насчет этого дела, но хотел бы занести кое-что на бумагу. Затем я предложил следующую формулу: «Считается в принципе, что территория польского государства и нации должна находиться между так называемой линией Керзона и линией Одера, включая для Польши Восточную Пруссию (в тех рамках, как она будет определена) и Оппельн. Но фактическое проведение границы требует тщательного изучения и, возможно, перемещения части населения в некоторых пунктах». Почему бы не принять такую формулу, на основании которой я мог бы сказать полякам примерно следующее: «Я не знаю, одобрят ли это русские, но думаю, что смогу добиться этого для вас. Вы видите, о вас хорошо заботятся». Я добавил, что нам никогда не добиться того, чтобы поляки сказали, что они удовлетворены. Ничто не удовлетворит поляков.

Сталин сказал затем, что русские хотели бы иметь незамерзающий порт Кенигсберг, и набросал возможную линию на карте. Таким образом, Россия оказалась бы как бы у самого затылка Германии. Если он это получит, он будет готов согласиться на мою формулу насчет Польши. Я спросил, как со Львовом. Сталин сказал, что он согласится на линию Керзона.

Таким образом, наши долгие и трудные переговоры в Тегеране пришли к концу. Военные выводы определяли в основном будущий ход войны. Вторжение через Ла-Манш было назначено на май, естественно, с учетом приливов и фаз луны. Ему должно было помочь новое крупное наступление русских.

Политические аспекты были и более отдаленными, и более гадательными. Они явно зависели от результатов великих битв, которые еще предстояли, а затем и от настроений каждого из союзников после победы. Обещание Сталина вступить в войну против Японии тотчас после свержения Гитлера и разгрома его армий имело величайшее значение.

Мы добились смягчения условий для Финляндии. Были в общих чертах намечены границы новой Польши на востоке и на западе. Линия Керзона, с учетом возможных отклонений на

востоке, и линия Одера на западе, казалось, давали подлинный и надежный очаг для польской нации, перенесшей столько страданий.

Восстание в Варшаве. Позиция Сталина

Летом 1944 года началось продвижение советских армий в Центральную и Восточную Европу. Все сообщения свидетельствовали о том, что в ближайшем будущем Польша окажется в руках русских. Командованию польской подпольной армии, которое было связано присягой лондонскому правительству, теперь надо было решать, в какой именно момент следует поднять всеобщее восстание против немцев, для того чтобы ускорить освобождение их страны и не дать немцам вести ожесточенные оборонительные бои на польской территории, и в особенности в самой Варшаве. Польский командующий генерал Бур-Комаровский и его гражданский советник были уполномочены польским правительством в Лондоне объявить всеобщее восстание в любое время, избранное по их усмотрению. Момент действительно казался своевременным. 20 июля было получено сообщение о заговоре против Гитлера, после чего союзники вскоре совершили прорыв с плацдарма на нормандском побережье. Примерно 22 июля поляки перехватили радиограммы немецкой 4-й танковой армии, в которых передавался приказ об общем отступлении на запад от Вислы. Русские форсировали реку в тот же день, и их передовые части продвигались в направлении Варшавы. Было мало оснований сомневаться в том, что вскоре наступит общий крах. На Нюрнбергском процессе генерал Гудериан так описал сложившееся тогда положение:

«21 июля 1944 года я получил новое назначение в качестве начальника штаба германских вооруженных сил на Восточном фронте. После моего назначения весь фронт – если это можно назвать фронтом – вряд ли представлял собой нечто большее, чем скопление остатков наших армий, которые пытались отступить к линии Вислы; 25 дивизий были полностью уничтожены».

Генерал Бур поэтому решил организовать крупное восстание, чтобы освободить город. У него было около 40 тысяч человек с запасами продовольствия и боеприпасов, достаточными для того, чтобы вести бои в течение семи – десяти дней. Уже был слышен гул русских орудий, стрелявших по ту сторону Вислы. Советские военно-воздушные силы начали бомбить немцев в Варшаве с недавно захваченных аэродромов, расположенных близко от столицы; ближайший из них находился на расстоянии лишь 20-минутного полета. В то же время в Восточной Польше был создан коммунистический Комитет национального освобождения, и русские объявили, что освобожденная территория будет поставлена под его контроль. Советские радиостанции уже

значительное время призывали польское население отказаться от всякой предосторожности и начать общее восстание против немцев. 29 июля, за три дня до начала восстания, московская радиостанция передала обращение польских коммунистов к населению Варшавы, в котором было сказано, что сейчас уже слышен гул стрельбы пушек освобождения.

Обращение призывало население, так же как и в 1939 году, присоединиться к борьбе против немцев, на этот раз для решающих действий. «Для Варшавы, которая не сдалась, а продолжала бороться, уже настал час действовать». В радиопередаче указывалось, что германский план создания оборонительных пунктов приведет к постепенному разрушению города, и в заключение жителям напоминали, что «будет потеряно все, что не будет спасено активной борьбой», и что «прямой активной борьбой в Варшаве, на улицах, в домах и т. д., будет ускорен момент окончательного освобождения и жизнь наших братьев будет спасена».

Вечером 31 июля подпольное командование в Варшаве получило известие, что советские танки ворвались в германские укрепления восточнее Варшавы. В германской военной сводке говорилось: «Сегодня русские начали генеральную атаку на Варшаву с юго-востока». Русские войска теперь находились менее чем в 10 милях. В самой столице польское подпольное командование отдало приказ начать всеобщее восстание в 5 часов пополудни следующего дня. Генерал Бур описал происходившее следующим образом:

«Ровно в 5 часов началась стрельба из тысяч широко распахнутых окон. Со всех сторон обрушился град пуль на проходивших немцев, их здания и марширующие соединения. В мгновение ока оставшиеся в городе гражданские лица исчезли с улиц. Наши люди ринулись из домов и бросились в атаку. Через 15 минут весь город с миллионом жителей был охвачен борьбой. Приостановился весь транспорт. Варшава перестала быть крупным центром коммуникаций в ближайшем тылу германского фронта, где скрещиваются пути с севера, юга, востока и запада. Битва за город началась».

* * *

На следующий день это известие было получено в Лондоне, и мы с нетерпением ожидали дальнейших сообщений. Советское радио хранило молчание, а русская авиация прекратила действовать. 4 августа немцы перешли в наступление из

укрепленных пунктов, которые они удерживали во всех районах города и в пригородах. Польское правительство в Лондоне сообщило нам о настоятельной необходимости отправки припасов по воздуху. Теперь повстанцам противостояли пять поспешно сосредоточенных немецких дивизий. Была также доставлена дивизия «Герман Геринг» из Италии, и вскоре прибыли две другие эсэсовские дивизии.

Я телеграфировал об этом Сталину 4 августа 1944 г.:

«По срочной просьбе польской подпольной армии мы сбросим в зависимости от погоды около шестидесяти тонн снаряжения и боеприпасов в юго-западный квартал Варшавы, где, как сообщают, восставшие против немцев поляки ведут ожесточенную борьбу. Они также заявляют, что они просят о русской помощи, которая кажется весьма близкой. Их атакуют полторы немецкие дивизии. Это может быть помощью Вашим операциям».

Ответ последовал 5 августа, быстро и в зловещем тоне:

«Ваше послание о Варшаве получил.

Думаю, что сообщенная Вам информация поляков сильно преувеличена и не внушает доверия. К такому выводу можно прийти хотя бы на том основании, что поляки-эмигранты уже приписали себе чуть ли не взятие Вильно какими-то частями Краевой Армии и даже объявили об этом по радио. Но это, конечно, не соответствует действительности ни в какой мере. Краевая Армия поляков состоит из нескольких отрядов, которые неправильно называются дивизиями. У них нет ни артиллерии, ни авиации, ни танков. Я не представляю, как подобные отряды могут взять Варшаву, на оборону которой немцы выставили четыре танковые дивизии, в том числе дивизию «Герман Геринг».

Тем временем продолжались уличные бои против немецких танков «тигр», и к 9 августа немцы вбили клин через весь город до самой Вислы, расчленив удерживаемые поляками районы на изолированные секторы. Доблестные попытки английской авиации с экипажами из поляков, англичан и представителей доминионов прийти на помощь Варшаве с итальянских баз были рискованными и недостаточными. Два самолета появились ночью 4 августа и три самолета – четыре ночи спустя.

Польский премьер-министр Миколайчик находился в Москве с 30 июля, пытаясь достигнуть какого-то соглашения с Советским правительством, которое признало коммунистический Польский комитет национального освобождения будущим правительством страны. Эти переговоры продолжались на протяжении первых дней Варшавского восстания. Миколайчик ежедневно получал от генерала Бура телеграммы с просьбами доставить боеприпасы и противотанковое оружие, а также о помощи со стороны Красной

Армии. Тем временем русские настаивали на соглашении о послевоенных границах Польши и о создании совместного правительства. Последняя бесплодная беседа со Сталиным состоялась 9 августа.

12 августа я ему телеграфировал:

«Я ознакомился с печальной телеграммой из Варшавы от поляков, которые спустя десять дней все еще борются против крупных германских сил, разрезавших город на три части. Они умоляют дать им пулеметы и боеприпасы. Не можете ли Вы оказать им еще некоторую помощь, так как расстояние от Италии очень велико?»

14 августа я телеграфировал Идену из Италии, куда я направился посетить армию генерала Александера:

«Русские будут весьма раздосадованы, если будет высказана мысль, что польских патриотов в Варшаве оставили на произвол судьбы, но русские могут легко предотвратить это вполне доступными им операциями. Безусловно, весьма любопытно, что в момент, когда восстала подпольная армия, русские армии приостановили свое наступление на Варшаву и отступили на некоторое расстояние Им потребовался бы всего полет на расстояние 100 миль для того, чтобы отправить достаточное количество пулеметов и боеприпасов, которых поляки требуют для своей героической борьбы. Я беседовал с Слессором (маршалом авиации), пытаясь направить всю возможную помощь отсюда. Но что сделали русские? Я думаю, что было бы лучше, если бы вы послали телеграмму Сталину через Молотова со ссылкой на предположения, высказываемые во многих местах, и с просьбой, чтобы русские послали все то, что они могут направить. Такой курс был бы более безличен, чем если бы я это сделал через Сталина. В последнюю ночь 28 самолетов совершили полет на расстояние 700 миль из Италии. Три самолета пропали. Это четвертый полет, предпринятый отсюда в этих весьма исключительных условиях».

* * *

Ночью 16 августа Вышинский пригласил к себе посла США в Москве и, объяснив, что он желает избежать возможности недоразумения, зачитал следующее удивительное заявление:

«Советское правительство не может, понятно, возражать против того, чтобы английские или американские самолеты сбрасывали оружие в район Варшавы, поскольку это дело американцев и англичан. Но оно решительно возражает против

того, чтобы американские или английские самолеты после того, как они сбросили оружие в районе Варшавы, приземлялись на советской территории, поскольку Советское правительство не желает связывать себя ни прямо, ни косвенно с авантюрой в Варшаве».

В тот же день я получил от Сталина следующую телеграмму, составленную в более мягких выражениях:

«1. После беседы с г. Миколайчиком я распорядился, чтобы Командование Красной Армии интенсивно сбрасывало вооружение в район Варшавы. Был также сброшен парашютист-связной, который, как докладывает командование, не добился цели, так как был убит немцами.

В дальнейшем, ознакомившись ближе с варшавским делом, я убедился, что варшавская акция представляет безрассудную ужасную авантюру, стоящую населению больших жертв. Этого не было бы, если бы советское командование было информировано до начала варшавской акции и если бы поляки поддерживали с последним контакт.

При создавшемся положении советское командование пришло к выводу, что оно должно отмежеваться от варшавской авантюры, так как оно не может нести ни прямой, ни косвенной ответственности за варшавскую акцию… «

Как рассказывает Миколайчик, первый параграф этой телеграммы совершенно не соответствует действительности. Два офицера благополучно прибыли в Варшаву и были приняты польским командованием. Там также находился несколько дней советский полковник, отправлявший телеграммы в Москву через Лондон с просьбой оказать повстанцам поддержку.

18 августа я снова телеграфировал Идену:

«Я читал чрезвычайно равнодушную телеграмму американского комитета начальников штабов генералу Эйзенхауэру от 15 августа, которая была получена после того, как я послал вам свою последнюю телеграмму.

Здешние авиационные власти заверили меня, что американцы желают отправлять помощь для Варшавы из Англии и что эта операция вполне осуществима, понятно, при условии, что русские дадут свое согласие. Мне трудно допустить, что к русским обратились с просьбой предоставить возможности для посадки наших самолетов, прежде чем генерал Дулиттл рассмотрел вопрос об осуществимости этой операции. Очень важно, чтобы вы выяснили, осуществима она или нет.

Прежде чем президент, или я, или оба мы вместе обратимся с личным или совместным призывом к Сталину, понятно, необходимо, чтобы были устранены военные трудности».

В то же время я обратился к президенту:

«1. Отказ русских разрешить американским самолетам доставлять припасы героическим повстанцам в Варшаве, усугубленный их полным нежеланием доставлять припасы по воздуху на расстояние лишь немногих десятков миль, является эпизодом, имеющим глубокое и далеко идущее серьезное значение. Если, – а это почти несомненно, – после победы немцев в столице начнется массовая резня, то последствия этого полностью нельзя определить.

2. Я готов послать личное послание Сталину, если Вы считаете это разумным и если Вы сами пошлете отдельно аналогичное послание. Гораздо лучше двух отдельных посланий было бы совместное послание, подписанное нами обоими.

3. Славные и гигантские победы, одерживаемые во Франции войсками Соединенных Штатов и Англии, значительно меняют ситуацию в Европе, и вполне может оказаться, что победа, завоеванная нашими армиями в Нормандии, затмит своим величием все, чего русские достигли в каком-либо отдельном случае. Я поэтому считаю, что они будут относиться с каким-то уважением к нашим словам, если они выражены ясно и просто. Мы являемся странами, которые защищают великие дела, и мы должны давать правильные советы во имя мира во всем мире, даже при наличии риска, что Сталин обидится. Весьма возможно, что он и не обидится».

Два дня спустя (20 августа 1944 г.) мы отправили следующий совместный призыв маршалу Сталину:

«Мы думаем о том, какова будет реакция мирового общественного мнения, если антинацисты в Варшаве будут на самом деле покинуты. Мы полагаем, что все мы трое должны сделать все от нас зависящее, чтобы спасти возможно больше находящихся там патриотов. Мы надеемся, что Вы сбросите наиболее необходимое снабжение и оружие полякам – патриотам Варшавы. В ином случае, не согласитесь ли Вы помочь нашим самолетам сделать это весьма быстро? Мы надеемся, что Вы это одобрите. Фактор времени имеет крайне важное значение».

Мы получили следующий ответ:

«Ваше и г-на Рузвельта послание относительно Варшавы я получил. Хочу высказать свои соображения.

Рано или поздно, но правда о кучке преступников, затеявших ради захвата власти варшавскую авантюру, станет всем известна. Эти люди использовали доверчивость варшавян, бросив многих почти безоружных людей под немецкие пушки, танки и авиацию. Создалось положение, когда каждый новый день используется не поляками для дела освобождения Варшавы, а гитлеровцами,

бесчеловечно истребляющими жителей Варшавы.

С военной точки зрения создавшееся положение, привлекающее усиленное внимание немцев к Варшаве, также весьма невыгодно как для Красной Армии, так и для поляков. Между тем советские войска, встретившиеся в последнее время с новыми значительными попытками немцев перейти в контратаки, делают все возможное, чтобы сломить эти контратаки гитлеровцев и перейти на новое широкое наступление под Варшавой. Не может быть сомнения, что Красная Армия не пожалеет усилий, чтобы разбить немцев под Варшавой и освободить Варшаву для поляков. Это, будет лучшая и действительная помощь полякам-антинацистам».

* * *

10 сентября 1944 года, после шести недель мучений, испытанных поляками, Кремль, очевидно, изменил свою тактику. Во второй половине этого дня снаряды советских орудий начали падать на восточные окрестности Варшавы, и советские самолеты вновь появились над городом. Польские коммунистические войска, выполняя советские приказы, пробились на окраину столицы. С 14 сентября советские военно-воздушные силы начали сбрасывать припасы, но раскрывались немногие парашюты, и многие контейнеры разбились и оказались бесполезными. На следующий день русские заняли пригород Прагу, но дальше не пошли. Они хотели, чтобы некоммунистические поляки были полностью уничтожены, и вместе с тем поддерживали мнение, будто они идут им на помощь.

Тем временем немцы продолжали ликвидацию польских пунктов сопротивления во всем городе, переходя из дома в дом. Население постигла ужасная участь. Многие были высланы немцами. Призывы генерала Бура к советскому командующему генералу Рокоссовскому остались без ответа. Царил голод.

Мои усилия получить американскую помощь привели к изолированной, но крупной операции. 18 сентября 104 крупных бомбардировщика появились над столицей, сбрасывая припасы. Уже было слишком поздно. Вечером 2 октября премьер Миколайчик пришел сообщить мне, что польские войска в Варшаве должны вот-вот капитулировать перед немцами.

Битва в Варшаве длилась более шестидесяти дней. Из 40 тысяч мужчин и женщин польской подпольной армии было убито около 15 тысяч человек. Из миллионного населения почти 200 тысяч было ранено. Подавление восстания стоило германской

армии 10 тысяч человек убитыми, 7 тысяч пропавшими без вести и 9 тысяч ранеными.

Снова в Москве. Сталин не хочет уступать

С наступлением осени положение во всей Восточной Европе становилось все более напряженным. Русские армии оказывали сильный нажим на Балканском театре военных действий, а Румыния и Болгария находились в их власти. Поскольку победа Великого союза становилась лишь делом времени, естественно, что устремления русских возрастали. Коммунизм поднимал голову за победоносным русским фронтом. Россия была спасительницей, а коммунизм – евангелием, которое она с собой несла.

Я никогда не считал, что наши отношения с Румынией и Болгарией в прошлом требовали от нас каких-то особых жертв. Однако судьба Польши и Греции нас касалась непосредственно: из-за Польши мы вступили в войну; ради Греции мы предпринимали мучительные усилия. Правительства обеих этих стран нашли убежище в Лондоне, и мы считали себя ответственными за их возвращение, если народы этих стран действительно этого захотят. Соединенные Штаты в основном разделяли эти чувства, но до их сознания очень медленно доходило резкое усиление коммунистического влияния, которое предшествовало и следовало за продвижением мощных армий, управлявшихся из Кремля. Я надеялся воспользоваться улучшением отношений с Советами, чтобы добиться удовлетворительного решения этих новых проблем, возникавших между Востоком и Западом.

В Москву наша делегация прибыла во второй половине дня 9 октября. На этот раз нас поместили в самой Москве со всеми удобствами. В моем распоряжении находился небольшой, прекрасно обставленный дом, в распоряжении Идена – другой дом поблизости. Мы были рады возможности пообедать вдвоем и отдохнуть.

В 10 часов вечера состоялась наша первая важная встреча в Кремле. На ней присутствовали только Сталин, Молотов, Иден, Гарриман и я, а также майор Бирс и Павлов в качестве переводчиков. Было решено тотчас же пригласить в Москву польского премьер-министра, министра иностранных дел Ромера и седобородого, престарелого академика Грабского – обаятельного и очень способного человека. Поэтому я телеграфировал Миколайчику, что мы ожидаем его и его друзей для переговоров с Советским правительством и нами, а также с люблинским польским комитетом. Я дал ясно понять, что отказ приехать и принять участие в этих переговорах был бы

равносилен прямому отклонению нашего совета и освободил бы нас от дальнейшей ответственности по отношению к лондонскому польскому правительству.

Создалась деловая атмосфера, и я заявил: «Давайте урегулируем наши дела на Балканах. Ваши армии находятся в Румынии и Болгарии. У нас есть там интересы, миссии и агенты. Не будем ссориться из-за пустяков. Что касается Англии и России, согласны ли вы на то, чтобы занимать преобладающее положение на 90 процентов в Румынии, на то, чтобы мы занимали также преобладающее положение на 90 процентов в Греции и пополам – в Югославии?» Пока это переводилось, я взял пол-листа бумаги и написал:

«Румыния: Россия – 90 процентов. Другие – 10 процентов.

Греция: Великобритания (в согласии с США) – 90 процентов. Россия – 10 процентов Югославия: – 50: 50 процентов.

Венгрия: 50: 50 процентов.

Болгария: Россия – 75 процентов. Другие – 25 процентов».

Я передал этот листок Сталину, который к этому времени уже выслушал перевод. Наступила небольшая пауза. Затем он взял синий карандаш и, поставив на листке большую птичку, вернул его мне. Для урегулирования всего этого вопроса потребовалось не больше времени, чем нужно было для того, чтобы это написать.

Конечно, мы долго и тщательно обсуждали наш вопрос и, кроме того, касались лишь непосредственных мероприятий военного времени. Обе стороны откладывали все более крупные вопросы до мирной конференции, которая, как мы тогда надеялись, состоится после того, как будет выиграна война.

Затем наступило длительное молчание. Исписанный карандашом листок бумаги лежал в центре стола. Наконец, я сказал: «Не покажется ли несколько циничным, что мы решили эти вопросы, имеющие жизненно важное значение для миллионов людей, как бы экспромтом? Давайте сожжем эту бумажку». «Нет, оставьте ее себе», – сказал Сталин.

Я поднял также вопрос о Германии, и было решено, что наши два министра иностранных дел вместе с Гарриманом займутся им. Я сообщил Сталину, что американцы в ходе наших дальнейших переговоров изложат ему в основных чертах свой план операций на Тихом океане на 1945 год.

* * *

После нашей первой встречи я размышлял над нашими

отношениями с Россией во всей Восточной Европе и, для того чтобы разъяснить свои мысли, набросал письмо Сталину по этому поводу, приложив к нему меморандум, в котором пояснил, как мы трактуем те проценты, которые были приняты нами за столом. В конечном счете я так и не послал этого письма, сочтя более благоразумным не затрагивать этого вопроса. Я помещаю его лишь как достоверный отчет о моих мыслях.

«Москва, 11 октября 1944 г.

Я считаю чрезвычайно важным, чтобы Англия и Россия имели общую политику на Балканах, которая была бы приемлемой также и для Соединенных Штатов. В свете того факта, что Англия и Россия имеют 20-летний союз, особенно важно, чтобы мы находились в общем согласии и могли без труда работать совместно в течение длительного времени, доверяя друг другу. Я понимаю, что все то, что мы делаем здесь, может служить лишь предварительной подготовкой к тем окончательным решениям, которые мы примем, когда соберемся все втроем за столом победы. Тем не менее я надеюсь, что мы сможем достичь взаимопонимания, а в некоторых случаях и соглашений, которые помогут нам выйти из нынешних критических ситуаций и послужат прочной основой длительного всеобщего мира.

Проценты, которые я набросал, представляют собой всего лишь средство, с помощью которого, по нашему мнению, мы сможем определить, насколько близки наши мысли, а затем решить, какие нужно предпринять шаги, чтобы обеспечить полное согласие между нами. Как я уже указывал, они могли бы показаться грубыми и даже бессердечными, если бы были представлены на рассмотрение министерств иностранных дел и дипломатов во всем мире. Поэтому они не могут быть положены в основу какого-либо подлежащего опубликованию документа, и, уж конечно, не сейчас. Тем не менее они могут послужить хорошим руководством к ведению наших дел. Если мы сумеем хорошо устроить эти наши дела, мы, быть может, предотвратим несколько гражданских войн, много кровопролития и распри в малых странах, о которых идет речь. Наш общий принцип должен состоять в том, чтобы предоставить каждой стране возможность иметь такую форму правления, какую хочет ее народ. Мы, безусловно, не хотим навязывать ни одному из балканских государств монархические или республиканские институты. Однако мы установили определенные доверительные отношения с королями Греции и Югославии. Спасаясь от нацистского врага, они просили нас предоставить им убежище, и мы думаем, что, когда будет восстановлено нормальное положение и спокойствие и когда враг будет изгнан, народы этих стран должны по

справедливости получить возможность свободно сделать выбор. Возможно даже, что на время выборов туда придется послать комиссаров трех великих держав, которые должны будут проследить за тем, чтобы народ мог сделать подлинно свободный выбор. Имеются хорошие прецеденты этого.

Однако, помимо вопроса об институтах, во всех этих странах существует идеологический конфликт между тоталитарными формами правления и теми, которые мы называем свободной инициативой, контролируемой всеобщим избирательным правом. Мы очень рады, что Вы высказались против попыток изменить силой или с помощью коммунистической пропаганды системы, установившиеся в различных балканских странах. Пусть они сами определят свои судьбы в предстоящие годы. Однако одного мы не можем допустить любой формы фашизма или нацизма, поскольку они не обеспечивают трудовым массам ни тех благ, какие гарантирует Ваша система, ни тех, какие гарантируют наши системы, а, наоборот, ведут к господству тирании внутри страны и агрессии за границей. В принципе я считаю, что Англия и Россия могут быть спокойны за внутреннее правление в этих странах, не тревожиться о них и не вмешиваться в их дела, когда нормальные условия будут восстановлены после этой ужасной кровавой бани, через которую прошли они, да и мы.

Именно с этой точки зрения я пытался определить степень заинтересованности каждого из нас в этих странах с полного согласия другой стороны и при условии одобрения Соединенными Штатами, которые могут отстраниться на долгое время, а затем снова неожиданно вернуться, обладая колоссальной силой.

Поскольку я пишу Вам, человеку, имеющему такой большой опыт и мудрость, мне нет нужды приводить множество аргументов. Гитлер пытался использовать в своих планах существующий во всей Западной Европе страх перед агрессивным, обращающим в свою веру коммунизмом, и он терпит полное поражение. Однако как Вы хорошо знаете, этот страх существует во всех странах, ибо, каковы бы ни были достоинства наших различных систем, ни одна страна не хочет пережить кровавую революцию, которая, несомненно, окажется необходимой почти в каждом случае для того, чтобы можно было произвести такое коренное изменение в образе жизни, привычках и взглядах ее общества. Мне кажется, мы были правы, когда расценили роспуск Вами Коминтерна как решение Советского правительства не вмешиваться во внутренние политические дела других стран. Чем в большей степени люди уяснят эту мысль, тем глаже пойдут дела. Мы, с другой стороны, – и, я уверен, Соединенные Штаты

также, – имеем правительства, опирающиеся на очень широкую основу, где такие факторы, как привилегии и классовые различия, находятся под постоянным наблюдением и подвергаются исправлению. Нам кажется, что если смотреть издалека и в широком плане, то различия между нашими системами будут становиться все меньшими, а наши великие общие принципы – обеспечение широким народным массам более зажиточной и счастливой жизни – крепнуть из года в год. Вероятно, если бы в течение 50 лет существовал мир, разногласия, которые могут сейчас принести миру столь серьезные неприятности, превратились бы в предмет академической дискуссии.

Пользуясь случаем, г-н Сталин, чтобы заверить Вас в том, что английский народ искренне желает, чтобы между нашими двумя странами установилась длительная прочная дружба и сотрудничество, и что вместе с Соединенными Штатами мы сумеем удержать на рельсах мировую машину».

* * *

13 октября, в 5 часов вечера, мы собрались на Спиридоновке, где Советское правительство устраивает приемы. Здесь мы выслушали Миколайчика и его коллег. Эти переговоры проводились в порядке подготовки к следующему совещанию, на котором английская и американская делегации должны были встретиться с просоветскими люблинскими поляками.

Я усиленно настаивал на том, чтобы Миколайчик подумал о двух вещах – о принятии де-факто линии Керзона с двусторонним обменом населения и о дружеских переговорах с люблинским Польским комитетом, чтобы можно было создать объединенную Польшу. Я сказал, что произойдут определенные изменения, но было бы лучше всего, если бы единство было установлено сейчас, на этом завершающем этапе войны, и я просил поляков внимательно обсудить этот вопрос в тот же вечер. Иден и я – к их услугам. Для них было необходимо установить контакт с Польским комитетом и согласиться на линию Керзона в порядке рабочей договоренности, подлежащей обсуждению впоследствии на мирной конференции.

В тот же день, в 10 часов вечера, мы встретились с членами так называемого Польского национального комитета. Вскоре стало ясно, что люблинские поляки – просто пешки России. Они так тщательно выучили и затвердили свою роль, что даже их хозяева, видимо, считали, что они перебарщивают. Так, например, их руководитель Берут говорил так: «Мы явились сюда

с целью потребовать от имени Польши, чтобы Львов принадлежал России. Такова воля польского народа». Когда эти слова перевели с польского на английский и русский языки, я взглянул на Сталина и увидел промелькнувшее в его выразительных глазах понимание, как если бы он хотел спросить: «Ну, что вы скажете о нашей советской выучке?» Пространное выступление другого люблинского руководителя, Осубка-Моравского, было столь же гнетущим. На Идена трое люблинских поляков произвели самое неблагоприятное впечатление. Совещание продолжалось более шести часов, но результаты оказались минимальными.

Время шло, но тяжелое состояние советско-польских дел улучшалось лишь в самой незначительной степени. Поляки были готовы принять линию Керзона «в качестве демаркационной линии между Россией и Польшей». Русские настаивали на формулировке «как основу границы между Россией и Польшей». Ни одна из сторон не хотела уступать. Миколайчик заявил, что его отверг бы его собственный народ, а Сталин в конце беседы наедине со мной, длившейся два с четвертью часа, заметил, что из всех, с кем он работает, только он и Молотов стоят за то, чтобы «мягко» обойтись с Миколайчиком. Я был уверен в том, что за кулисами оказывался сильный нажим как по партийной, так и по военной линии.

Сталин не считал желательным продолжать попытки сформировать объединенное польское правительство, пока не будет согласован вопрос о границах. Если бы этот вопрос был урегулирован, он с готовностью согласился бы с тем, чтобы Миколайчик возглавил новое правительство.

Лично я считал, что не менее серьезные трудности возникнут при обсуждении вопроса о слиянии польского правительства с люблинскими поляками, представители которых по-прежнему производили на нас самое скверное впечатление и являлись, как я сказал Сталину, «лишь выразителями советской воли». Они, несомненно, также мечтали о том, чтобы править Польшей и были своего рода квислингами.

Таким образом, московская встреча с представителями обоих польских правительств закончилась ничем. Мы уехали из Москвы, опубликовав коммюнике в самых общих выражениях и воздержавшись от признания того или иного польского правительства.

Встреча в Крыму. Судьбы мира

В феврале 1945 года мы опять встретились со Сталиным, на этот раз в Крыму, в Ялте. Советская штаб-квартира в Ялте была расположена в Юсуповском дворце. Из этого центра Сталин, Молотов и их генералы управляли Россией и руководили своим колоссальным фронтом, на котором происходили в это время самые ожесточенные бои. Президенту Рузвельту был предоставлен еще более роскошный, Ливадийский дворец, находившийся поблизости, и именно здесь, чтобы избавить его от физических неудобств, происходили все пленарные заседания. Это были единственные неразрушенные здания в Ялте. Мне и ведущим членам английской делегации была предоставлена большая вилла, примерно на расстоянии пяти миль отсюда, построенная в начале XIX столетия английским архитектором для русского графа Воронцова, бывшего некогда послом императора при английском дворе. Остальных членов нашей делегации разместили в двух домах отдыха, примерно в 20 минутах хода от нас, где они, включая высокопоставленных офицеров, спали по пять-шесть человек в комнате, но на это, казалось, никто не обращал внимания. Немцы эвакуировали окружающий район только за десять месяцев до нашего приезда, и все здания в округе были сильно разрушены.

Наши хозяева сделали все возможное, чтобы создать нам комфорт, и любезно принимали к сведению любое, даже случайное замечание. Однажды Портал пришел в восторг, увидев большой стеклянный аквариум, в котором росли растения, но заметил, что там нет ни одной рыбки. Два дня спустя сюда была доставлена целая партия золотых рыбок. В другой раз кто-то случайно сказал, что в коктейле нет лимонных корочек. На следующий день в холле выросло лимонное дерево, отягощенное плодами. И все это, вероятно, приходилось доставлять издалека на самолетах.

* * *

Первое пленарное заседание конференции началось днем 5 февраля 1945 года, в четверть пятого. Мы собрались в Ливадийском дворце и заняли наши места за круглым столом. Вместе с тремя переводчиками нас было 23 человека. Со Сталиным и Молотовым были Вышинский, Майский, русский посол в Лондоне Гусев и русский посол в Вашингтоне Громыко.

Переводил Павлов. Американскую делегацию возглавляли президент Рузвельт и Стеттиниус. В нее входили также адмирал Леги, Бирнс, Гарриман, Гопкинс, руководитель европейского отдела в государственном департаменте Мэттьюс и специальный помощник из государственного департамента Болен, который также переводил. Иден сидел рядом со мной. В мою группу входили Александр Кадоган, Эдуард Бриджес, наш посол в Москве Арчибальд Кларк Керр. Переводил для нас, как и всегда со времени моей первой встречи со Сталиным в Москве в 1942 году, майор Бирс.

Переговоры начались с обсуждения вопроса о будущем Германии. Сталин спрашивал, как нужно будет расчленить Германию. Будем ли мы иметь одно или несколько правительств или же только какую-то форму администрации? Если Гитлер безоговорочно капитулирует, сохраним ли мы его правительство или откажемся иметь с ним дело?

Я сказал, что мы все договорились о том, что Германия должна быть расчленена, но практическое осуществление ее раздела – слишком сложное дело, чтобы о нем можно было договориться за пять или шесть дней. Это потребовало бы весьма тщательного изучения исторических, этнографических и экономических факторов, а также продолжительного изучения вопроса специальным комитетом, который рассмотрел бы различные предложения и представил бы по ним рекомендации. Нужно сейчас же создать орган для изучения этих вопросов, и прежде чем прийти к какому-то окончательному решению, мы должны иметь его доклад.

Затем я высказал предположения относительно будущего. Ясно, что если Гитлер или Гиммлер предложат безоговорочную капитуляцию, мы должны ответить, что не станем вести переговоры ни с кем из военных преступников. Если они окажутся единственными людьми, которых немцы могут предложить, мы должны продолжать войну. Более вероятно, что Гитлер и его коллеги либо будут убиты, либо исчезнут и безоговорочную капитуляцию предложат другие люди. Если это произойдет, три великие державы должны немедленно проконсультироваться и решить, есть ли смысл иметь с ними дело. Если да, то им нужно будет немедленно предложить разработанные условия капитуляции; если нет – продолжать войну и поставить всю страну под контроль строгой военной администрации.

Рузвельт предложил попросить наших министров иностранных дел разработать за сутки план изучения этого вопроса, а через месяц представить конкретный план расчленения. На этом вопрос был на время остановлен.

Обсуждались также, но не были разрешены другие вопросы. Президент спросил, следует ли предоставить французам зону оккупации в Германии. Мы решили, что это, бесспорно, следует сделать, выделив им часть английской и американской зон, и что министры иностранных дел должны подумать о том, как этот район будет управляться.

Затем по просьбе Сталина Майский изложил русский план взимания с Германии репараций и демонтажа ее военных предприятий. Я сказал, что опыт прошлой войны оказался весьма печальным и я не верю в возможность получения с Германии чего-либо похожего на ту сумму, которую, как сказал Майский, она должна выплатить одной только России. Англия также сильно пострадала. Разрушено много зданий. Мы потеряли значительную часть наших капиталовложений в других странах и столкнулись с проблемой – как увеличить наш экспорт настолько, чтобы оплачивать импорт продовольствия, от которого мы зависим. Я сомневался в том, чтобы это бремя можно было значительно облегчить с помощью германских репараций. Другие страны также пострадали, и это нужно будет учесть. Что произойдет, если Германия будет обречена на голод? Намерены ли мы стоять сложа руки в стороне и говорить, что она этого заслужила? Или же мы собираемся кормить немцев, а если так, то кто будет платить? Сталин сказал, что эти вопросы так или иначе возникнут. А я ответил, что если хотят, чтобы лошадь тащила телегу, ей нужно давать немного сена. В конечном счете мы договорились о том, что русское предложение будет изучено специальной комиссией, которая будет секретно работать в Москве.

* * *

Затем мы перешли к международной организации по поддержанию мира. Еще 5 декабря 1944 года президент сделал Сталину и мне следующие новые предложения по этой организации: каждый член Совета Безопасности должен иметь один голос. Для принятия какого-либо решения за него должны голосовать семь членов. Этого будет достаточно для деталей процедуры. Все крупные вопросы, такие, как принятие или исключение отдельных государств из организации, подавление и улаживание конфликтов, регулирование вооружений и предоставление вооруженных сил, потребуют совпадения голосов всех постоянных членов Совета. Иными словами, Совет Безопасности фактически бессилен, если нет единогласия

«большой четверки». Если Соединенные Штаты, СССР, Великобритания или Китай не согласны, тогда любая из этих стран может отказать в своем согласии и помешать Совету предпринять что-либо. Это было правом вето.

В предложениях Рузвельта содержалось еще одно уточнение. Конфликт может быть урегулирован мирными методами. В этом случае потребовалось бы семь голосов и единогласное решение всех постоянных членов, то есть «большой четверки». Но если кто-либо из членов Совета, включая «большую четверку», участвует в конфликте, он может обсуждать решение, но не может принимать участия в голосовании. Таков был план, изложенный Стеттиниусом на этом втором заседании 6 февраля.

Сталин заявил, что изучит предложение и посмотрит, в состоянии ли он понять его, но пока оно не совсем ясно. Он опасается, что, хотя три великие державы являются в настоящее время союзниками и ни одна из них не совершит никакого акта агрессии, лет через десять или меньше три нынешних руководителя исчезнут и к власти придет новое, не обладающее опытом войны поколение, которое забудет о том, что мы испытали.

«Все мы, – сказал он, – хотим обеспечить мир, по крайней мере, лет на пятьдесят. Величайшая опасность – это конфликт между нами самими, ибо если мы останемся едиными, германская угроза не будет особенно серьезной. Поэтому мы должны сейчас подумать о том, как обеспечить наше единство в будущем и как гарантировать, чтобы три великие державы (а возможно, также Китай и Франция) сохранили единый фронт. Должна быть разработана какая-то система, которая предотвратила бы конфликт между главными великими державами».

Затем он выразил сожаление по поводу того, что другие дела мешали ему до сих пор изучить американский план в деталях. Как он понял, это предложение делит все конфликты на две категории – во-первых, те, которые требуют санкций, будь то экономических, политических или военных, и, во-вторых, те, которые можно урегулировать мирными средствами. Обе категории будут всесторонне обсуждены. Санкции могут быть применены лишь в случае единогласия постоянных членов Совета, и если один из этих членов Совета сам причастен к конфликту, тогда он может принять участие и в обсуждении, и в голосовании. С другой стороны, если существует конфликт, который может быть урегулирован мирным путем, тогда участвующие в нем стороны не могут голосовать.

Русских, сказал он, обвинили в том, что они слишком много

говорят о голосовании. Они действительно считают это очень важным вопросом, так как все будет решаться голосованием и их будут весьма интересовать результаты. Предположим, например, что Китай, как постоянный член Совета Безопасности, потребовал бы возвращения Гонконга или что Египет потребовал бы возвращения Суэцкого канала. Он полагает, что в этом случае они не были бы одиноки и имели бы друзей, а возможно, и защитников в Ассамблее или в Совете.

Я сказал, что, как я понимаю, полномочия международной организации не могут быть применены против Англии, если она не будет убеждена и откажется согласиться.

Сталин спросил, действительно ли это так, и я заверил его, что это именно так.

Тогда Иден разъяснил, что в таком случае Китай или Египет могли бы пожаловаться, что никакое решение, предусматривающее применение силы, не могло бы быть принято без согласия правительства его величества, и Стеттиниус подтвердил, что никакие санкции не могут быть применены, если между постоянными членами Совета Безопасности не будет единогласия. Могут быть порекомендованы меры к мирному урегулированию, например арбитраж.

Сталин заявил, что, как он опасается, споры из-за Гонконга или Суэцкого канала могли бы нарушить единство трех великих держав.

Я ответил, что понимаю, какая опасность может возникнуть, но что международная организация ни в коей мере не нарушает нормальных дипломатических отношений между государствами – великими или малыми. Международная организация – это особая независимая организация, а ее члены будут продолжать обсуждать между собой свои дела. Было бы глупо ставить в международной организации те или иные вопросы, если они могут нарушить единство великих держав.

«Мои коллеги в Москве, – сказал Сталин, – не могут забыть того, что произошло в декабре 1939 года во время русско-финской войны, когда англичане и французы использовали против нас Лигу Наций и им удалось изолировать Советский Союз и изгнать его из Лиги, а позднее они ополчились против нас и говорили о крестовом походе против России. Не можем ли мы иметь какие-либо гарантии того, что это не повторится?»

Иден указал, что американское предложение сделает это невозможным.

«Можем ли мы создать еще больше препятствий?» – спросил Сталин.

Я сказал, что предусмотрено особое условие о единогласии

великих держав.

«Мы услышали о нем сегодня впервые», – ответил он. Я признал, что есть опасность разжигания агитации против одной из великих держав, – скажем, против англичан, – и я могу лишь сказать, что обычная дипломатия будет одновременно играть свою роль. Я не думаю, чтобы президент начал и поддержал нападки на Англию, и я считаю бесспорным, что будет сделано все, чтобы приостановить такие нападки. Я в равной мере уверен в том, что маршал Сталин также не предпримет нападки – агитационные, конечно, – на Британскую империю, не поговорив сначала с нами и не попытавшись найти какой-то путь достижения дружественного соглашения.

«Верно», – ответил он.

Рузвельт сказал, что в будущем между великими державами, конечно, возникнут разногласия. Они будут всем известны и будут обсуждаться на Ассамблее. Но если допустить их обсуждение также в Совете, то это не будет способствовать появлению разногласий. Напротив, это покажет, какое доверие мы питаем друг к другу, а также к нашей способности улаживать такие проблемы. Это укрепит, а не ослабит наше единство.

Сталин сказал, что это правильно. Он обещал изучить этот план и продолжить его обсуждение на следующий день.

* * *

Когда мы снова встретились на следующий день, Молотов принял новый план. Должны ли советские республики быть членами международной организации с правом голоса в Генеральной Ассамблее? Советская делегация была бы удовлетворена, если бы три или, по крайней мере, две из советских республик стали с самого начала членами организации, а именно Украина, Белоруссия и Литва. Все они важны, все принесли большие жертвы в войне; они первыми подверглись вторжению и сильно пострадали. Доминионы Британского Содружества наций приближались к независимости постепенно и терпеливо. Это было примером для России, и поэтому они решили внести это более узкое предложение. «Мы полностью согласны, – закончил он, – с предложением президента о процедуре голосования и просим, чтобы три или по крайней мере две из наших республик были членами-учредителями международной организации».

Для всех нас это было большим облегчением, и Рузвельт быстро поздравил Молотова.

Следующая задача, сказал президент, состоит в том, чтобы пригласить все страны собраться. Когда это будет сделано и кого мы пригласим? В СССР значительные массы народа организованы в отдельные республики; в Британской империи большие независимые группы живут на большом расстоянии друг от друга; Соединенные Штаты представляют собой единое целое, с одним министром иностранных дел и без колоний. Но есть и другие страны, такие, как Бразилия, которые имеют меньшую территорию, чем Россия, но большую, чем Соединенные Штаты, и, с другой стороны, целый ряд очень маленьких государств. Можем ли мы согласиться на один голос для каждой страны или же более крупные страны, должны иметь больше одного голоса в международной Ассамблее? Он предложил передать все эти вопросы на рассмотрение трех министров иностранных дел.

Я тоже поблагодарил Сталина за его важный шаг – принятие предложенной президентом процедуры голосования – и сказал, что соглашение, которого мы достигли, успокоит и удовлетворит людей во всем мире. Предложение Молотова также следует считать большим достижением. Президент Рузвельт вполне прав, сказав, что с точки зрения голосования положение Соединенных Штатов отличается от положения Британской империи. Мы имеем четыре самоуправляющихся доминиона, игравших последние 25 лет видную роль в международной организации мира, которая распалась в 1939 году. Все четыре способствовали поддержанию мира и демократическому прогрессу. Когда в 1939 году Соединенное Королевство объявило Германии войну, все они взялись за оружие, хотя знали, насколько мы были слабы. Мы не имели возможности заставить их сделать это. Они это сделали сами, по собственному почину, в вопросе, относительно которого с ними можно было консультироваться лишь частично, и мы никогда не согласились бы ни на какую систему, лишающую их положения, которое они с полным основанием занимали в течение четверти столетия. Поэтому я не мог не выслушать предложения Советского правительства с чувством глубокого понимания. Я от всего сердца сочувствовал могучей России, истекавшей кровью от нанесенных ей ран, но сметавшей тиранов, стоявших на ее пути, Я признавал, что у страны, имеющей 180 миллионов населения, естественно, возникали вопросы в отношении конституционных порядков Британского Содружества наций, благодаря которым мы имели больше одного голоса в Ассамблее, и поэтому я был рад, что президент Рузвельт дал такой ответ, который отнюдь нельзя было считать отклонением просьбы Молотова.

Однако я указал, что не могу превышать данных мне

полномочий. Я хотел бы иметь время обсудить предложение Молотова с Иденом и, быть может, послать телеграмму членам кабинета. Я попросил извинить меня за то, что не могу дать окончательного ответа в этот же день. Затем мы договорились передать весь вопрос на рассмотрение наших министров иностранных дел.

Остальные детали были урегулированы очень быстро.

Когда мы снова встретились днем 8 февраля, мы договорились принять в Организацию Объединенных Наций две советские республики и провести первую конференцию международной организации в среду 25 апреля. На конференцию будут приглашены только те государства, которые объявили войну нашему общему противнику к 1 марта или уже подписали декларацию Объединенных Наций.

* * *

В этот вечер мы все вместе обедали со Сталиным в Юсуповском дворце. Речи, произносившиеся за обедом, были записаны и могут быть приведены здесь. Между прочим, я сказал:

«Я не прибегаю ни к преувеличению, ни к цветистым комплиментам, когда говорю, что мы считаем жизнь маршала Сталина драгоценнейшим сокровищем для наших надежд и наших сердец. В истории было много завоевателей. Но лишь немногие из них были государственными деятелями, и большинство из них, столкнувшись с трудностями, которые следовали за их войнами, рассеивали плоды своих побед. Я искренне надеюсь, что жизнь маршала сохранится для народа Советского Союза и поможет всем нам приблизиться к менее печальным временам, чем те, которые мы пережили недавно.

Я шагаю по этому миру с большей смелостью и надеждой, когда сознаю, что нахожусь в дружеских и близких отношениях с этим великим человеком, слава которого прошла не только по всей России, но и по всему миру».

Сталин ответил мне лестными словами. Он сказал:

«Я провозглашаю тост за лидера Британской империи, за самого мужественного из всех премьер-министров мира, сочетающего в себе политический опыт и военное руководство, за человека, который в момент, когда вся Европа была готова пасть ниц перед Гитлером, заявил, что Англия не дрогнет и будет сражаться против Германии одна, даже без союзников. Даже если нынешние и возможные союзники покинут ее, – сказал он, – она будет продолжать сражаться. За здоровье человека, который

может родиться лишь раз в столетие и который мужественно поднял знамя Великобритании. Я сказал то, что чувствую, то, что у меня на душе, и то, в чем я уверен».

Затем я коснулся более серьезной темы:

«Я должен сказать, что еще ни разу за всю войну, даже в самые мрачные периоды, я не ощущал на себе такой большой ответственности, как сейчас на этой конференции. Теперь, по причинам, на которые указал маршал, мы понимаем, что достигли вершины холма и перед нами простирается открытая местность. Не будем преуменьшать трудности. В прошлом народы, товарищи по оружию, лет через пять – десять после войны расходились в разные стороны. Миллионы тружеников двигались таким образом по замкнутому кругу, попадая в пропасть и затем снова поднимаясь лишь, благодаря своим собственным жертвам. Теперь мы имеем возможность избежать ошибок прежних поколений и обеспечить прочный мир. Люди жаждут мира и радости. Соединятся ли вновь семьи? Вернется ли воин домой? Будут ли восстановлены разрушенные жилища? Увидит ли труженик свой дом? Защита своей страны – доблестное дело, но перед нами еще большие задачи. Нам предстоит претворить в жизнь мечту бедняков, чтобы они могли жить в мире, охраняемые нашей непобедимой мощью от агрессии и зла. Я возлагаю свои надежды на замечательного президента Соединенных Штатов и на маршала Сталина, в которых мы найдем поборников мира и которые, разбив наголову противника, поведут нас на борьбу против нищеты, беспорядков, хаоса, гнета. Я возлагаю на это надежды и от имени Англии заявляю, что мы не отстанем в наших усилиях. Мы неослабно будем поддерживать ваши усилия. Маршал говорил о будущем. Это самое главное. В противном случае океаны крови окажутся напрасными и поруганными. Я провозглашаю тост за яркий, солнечный свет победившего мира».

Сталин ответил. Я никогда не подозревал, что он может быть таким откровенным.

«Я говорю, – сказал он, – как старый человек; вот почему я говорю так много. Но я хочу выпить за наш союз, за то, чтобы он не утратил своего интимного характера, свободного выражения взглядов. В истории дипломатии я не знаю такого тесного союза трех великих держав, как этот, в котором союзники имели бы возможность так откровенно высказывать свои взгляды. Я знаю, что некоторым кругам это замечание покажется наивным.

В союзе союзники не должны обманывать друг друга.

Быть может, это наивно? Опытные дипломаты могут сказать: «А почему бы мне не обмануть моего союзника?» Но я, как

наивный человек, считаю, что лучше не обманывать своего союзника, даже если он дурак. Возможно, наш союз столь крепок именно потому, что мы не обманываем друг друга; или, быть может, потому, что не так уж легко обмануть друг друга? Я провозглашаю тост за прочность союза наших трех держав. Да будет он сильным и устойчивым; да будем мы как можно более откровенны».

И затем:

«За группу деятелей, которых признают только во время войны и о чьих услугах быстро забывают после войны. Пока идет война, этих людей любят и встречают с уважением не только им подобные, но также и женщины. После войны их престиж падает, а женщины поворачиваются к ним спиной.

Я поднимаю мой бокал за военных руководителей».

Он не питал никаких иллюзий относительно предстоявших нам трудностей.

«В эти дни в истории Европы произошли изменения – радикальные изменения. Во время войны хорошо иметь союз главных держав. Без такого союза выиграть войну было бы невозможно. Но союз против общего врага – это нечто ясное и понятное. Гораздо более сложное дело – поставленный союз для обеспечения мира и сохранения плодов победы…

Я провозглашаю тост за то, чтобы наш союз, рожденный в огне сражений, стал прочным и сохранился после войны; за то, чтобы наши страны не погрязли только в своих собственных делах, но помнили, что, помимо их собственных проблем, есть общее дело и что в дни мира они должны защищать дело единства с таким же энтузиазмом, как и в дни войны».

Когда мы сидели за обеденным столом в этой сердечной обстановке, Сталин говорил со мной о прошлом. Некоторые его замечания записаны.

«Финская война, – сказал он, – началась следующим образом, финская граница находилась примерно в 20 километрах от Ленинграда (он часто называл его Петербургом). Русские попросили финнов отодвинуть ее на 30 километров в обмен на территориальные уступки на севере. Финны отказали. Затем несколько русских пограничников подверглись обстрелу и были убиты финнами. Отряд пограничников сообщил об этом частям Красной Армии, которые открыли огонь по финнам. Москву запросили об инструкциях. В этих инструкциях содержался приказ дать отпор. Одно последовало за другим, и война началась. Русские не хотели войны с Финляндией.

Если бы англичане и французы послали в 1939 году в Москву миссию из людей, действительно желавших соглашения с

Россией, Советское правительство не подписало бы пакта с Риббентропом.

Риббентроп сказал русским в 1939 году, что англичане и американцы – только купцы и никогда не будут воевать.

Если мы – три великие державы – будем теперь держаться вместе, ни одна другая держава ничего не сможет нам сделать».

* * *

Польский вопрос обсуждался не менее чем на семи или восьми пленарных заседаниях Ялтинской конференции. Находившееся под советским покровительством люблинское правительство Польши – или «варшавское» правительство, как предпочитали его называть русские, – резко враждебно относилось к лондонскому польскому правительству. Со времени нашего октябрьского совещания в Москве отношения между ними не улучшились, а ухудшились.

Обсуждавшиеся вопросы можно суммировать следующим образом:

Как сформировать единое временное правительство для Польши.

Как и когда провести свободные выборы.

Как решить вопрос о границах Польши на востоке и на западе.

Как обеспечить безопасность тылов и коммуникаций наступавших советских армий.

Когда мы собрались на заседание 6 февраля, президент Рузвельт открыл дискуссию заявлением, что, будучи представителем Америки, он знаком с польским вопросом издалека. В Соединенных Штатах живут пять или шесть миллионов поляков, главным образом уже второго поколения, и большинство из них в целом поддерживает линию Керзона. Они знают, что им придется отказаться от Восточной Польши. Они хотели бы присоединения к Польше Восточной Пруссии и части Германии или, во всяком случае, какой-то компенсации. Как президент уже говорил в Тегеране, его положение было бы облегчено, если бы Советское правительство пошло на некоторые уступки, передав Польше, например, Львов и некоторые из нефтеносных районов, чтобы возместить потерю Кенигсберга.

Однако важнее всего вопрос о постоянном правительстве для Польши. Общественное мнение в США в общем выступает против признания люблинского правительства, потому что оно представляет лишь небольшую часть Польши и польского народа.

Выдвигается требование о создании правительства национального единства, возможно, из представителей пяти основных политических партий. Президент поэтому выразил надежду на создание в Польше представительного правительства, которое получило бы поддержку значительного большинства поляков, даже если бы оно носило лишь временный характер. Существует много путей к его созданию, как, например, сформирование небольшого президентского совета, который принял бы временную власть, а затем создал бы более постоянный орган.

Затем я сказал, что мой долг – изложить позицию правительства его величества. Я неоднократно заявлял в парламенте и в других публичных выступлениях о своей решимости поддержать притязания СССР на линию Керзона в толковании Советского правительства. Это означало присоединение Львова к СССР. Я всегда считал, что это требование России основывается не на силе, а на праве, если учесть страдания, перенесенные Россией при защите своей территории от немцев, и ее великие подвиги при изгнании немцев и освобождении Польши. Однако если бы она сделала великодушный жест в отношении гораздо более слабой державы и пошла на некоторые территориальные уступки вроде предложенных президентом, то мы были бы восхищены шагом Советского Союза и приветствовали бы его.

Однако создание сильной, свободной и независимой Польши – гораздо более важный вопрос, чем те или иные территориальные границы. Я хотел бы, чтобы поляки могли быть свободными и жить так, как им нравится. Я всегда слышал от маршала Сталина самые твердые заявления о поддержке этой цели, и именно потому, что я доверяю его заявлениям относительно суверенитета, независимости и свободы Польши, я считаю вопрос о границе менее важным. Вопрос о свободе Польши дорог всем англичанам и всему Содружеству наций.

В настоящее время имеются два правительства Польши, по поводу которых мы расходимся во мнениях. Я не видел никого из членов нынешнего лондонского правительства Польши. Мы признали их, но не поддерживаем с ними близких отношений. С другой стороны, Миколайчик, Ромер и Грабский – разумные и честные люди. С ними мы сохранили неофициальные, но дружественные отношения. Три великие державы подверглись бы критике, если бы они допустили видимость раскола из-за этих правительств-соперников в момент, когда нужно выполнять такие великие задачи и когда у трех держав есть такие общие надежды. Не могли бы мы создать правительственный орган для Польши в ожидании полных и свободных выборов – правительство, которое

мы все могли бы признать? Подобное правительство могло бы подготовить свободное голосование польского народа по вопросу о будущей конституции и управлении. В таком случае мы сделали бы великий шаг вперед на пути к будущему миру и процветанию Центральной Европы.

* * *

После краткого перерыва выступил Сталин. Он сказал, что ему понятна точка зрения английского правительства: для Англии Польша – вопрос чести. Однако для России это вопрос как чести, так и безопасности. Это вопрос чести, потому что у русских было много конфликтов с поляками и Советское правительство хочет устранить причины подобных столкновений.

Это вопрос безопасности не только потому, что Польша граничит с Россией, но и потому, что на протяжении всей истории Польша служила коридором, через который проходили враги России для нападения на нее. За последние 30 лет немцы дважды прошли через Польшу. Они прошли потому, что Польша была слаба. Россия хочет видеть Польшу сильной и могущественной, с тем чтобы она сама своими силами могла запереть этот коридор. Россия не могла бы держать его закрытым извне. Коридор может быть закрыт только изнутри, самой Польшей, и именно поэтому Польша должна быть свободной, независимой и сильной. Это вопрос жизни и смерти для Советского государства. Его политика значительно отличается от политики царского правительства. Цари стремились подавить и ассимилировать Польшу. Советская Россия положила начало политике дружбы, причем дружбы с независимой Польшей. Это главная основа советской позиции, то есть стремление видеть Польшу независимой, свободной и сильной.

Затем Сталин остановился на некоторых вопросах, поднятых Рузвельтом и мною. Президент, сказал он, предложил некоторое изменение линии Керзона и передачу Польше Львова и, возможно, некоторых других районов, а я заметил, что это было бы великодушным жестом. Однако, заявил Сталин, линия Керзона была изобретена не русскими. Она была намечена Керзоном, Клемансо и представителями Соединенных Штатов на конференции 1919 года, куда Россия не была приглашена.

Линия Керзона была принята против воли России на основе этнографических данных. Ленин с ней не соглашался. Он не хотел передачи Польше города Белостока и прилегающей к нему области. Русские уже отступили от этой позиции Ленина, а теперь

кое-кто хочет, чтобы Россия взяла себе меньше, чем соглашались ей дать Керзон и Клемансо. Это было бы постыдно. Приехав в Москву, украинцы сказали бы, что Сталин и Молотов – менее надежные защитники России, чем Керзон или Клемансо. Лучше продлить войну немного дольше, хотя это и будет стоить России много крови, с тем чтобы можно было компенсировать Польшу за счет Германии. Когда Миколайчик приезжал в Россию в октябре, он спрашивал, какую границу Польши на западе признает Россия. Он был очень рад, узнав, что, по мнению России, западная граница Польши должна быть отодвинута до Нейсе. Есть две реки под таким названием, сказал Сталин, одна близ Бреславля, а другая – дальше на запад. Он имел в виду Западную Нейсе и просил участников конференции поддержать его предложение.

Сталин затем указал, что мы не сможем создать польское правительство, если на это не согласятся сами поляки. Миколайчик и Грабский приезжали в Москву во время моего пребывания там. Они встретились с представителями люблинского правительства. Между ними была достигнута некоторая степень согласия, и Миколайчик уехал в Лондон, полагая, что он вернется. Вместо этого его коллеги просто сместили его только потому, что он выступал за соглашение с люблинским правительством. Польское правительство в Лондоне враждебно относится к самой идее люблинского правительства и называет его сборищем бандитов и преступников. Люблинское правительство платит им той же монетой, и теперь трудно что-либо сделать в этом вопросе.

Люблинское, или варшавское, правительство, как его теперь следует называть, не желает иметь ничего общего с лондонским правительством. Его представители сообщили Сталину, что они готовы сотрудничать с генералом Желиговским и с Грабским, но что они не хотят слышать о назначении Миколайчика премьер-министром. «Поговорите с ними, если хотите, – сказал Сталин. – Я могу устроить вам встречу с ними здесь или в Москве, но они не менее демократичны, чем де Голль, они могут поддерживать мир в Польше и положить конец гражданской войне и нападениям на Красную Армию». Лондонское правительство на это неспособно. Его агенты убили 212 русских солдат; они связаны с польским подпольным движением Сопротивления, и они устраивали нападения на склады, чтобы захватить оружие. Их радиостанции не зарегистрированы и работают без разрешения. Агенты люблинского правительства оказывали помощь, а агенты лондонского правительства причинили много зла. Для Красной Армии жизненно важно иметь безопасный тыл, и, как человек военный, Сталин поддержит только такое правительство которое

сможет гарантировать эту безопасность.

Было уже поздно, и президент предложил прервать заседание до следующего дня. Но я счел разумным заявить, что Соединенное Королевство и Советское правительство пользуются различными источниками информации в Польше и получили разноречивые сообщения о том, что там произошло. По нашим сведениям, сказал я, не больше трети польского народа поддержало бы люблинское правительство, если бы поляки могли свободно высказать свое мнение. Такая оценка, конечно, основана на наилучшей информации, которую мы смогли получить. Возможно, что в некоторых деталях мы ошибаемся. Я заверил Сталина, что мы весьма опасаемся столкновения между польской подпольной армией и люблинским правительством. Мы опасаемся, что это может привести к озлоблению, кровопролитию, арестам и ссылкам. Вот почему мы столь настойчиво стремимся к согласованному решению. Мы боимся последствий всех этих противоречий для польского вопроса, который и без того достаточно сложен. Мы, конечно, признаем, что за нападения на Красную Армию необходимо наказывать. Однако сведения, имеющиеся в моем распоряжении, не позволяют мне поверить в право люблинского правительства утверждать, что оно представляет польскую нацию.

Президент теперь стремился закончить дискуссию.

«Польша, – заметил он, – была источником неприятностей в течение более 500 лет».

«Тем более, – ответил я, – нам нужно сделать все возможное, чтобы положить конец этим неприятностям».

На этом заседание закончилось.

* * *

В тот же вечер президент после консультаций с нами направил с нашими поправками Сталину письмо, предлагая, чтобы два члена люблинского правительства и два представителя из Лондона или из самой Польши приехали в Ялту и попробовали договориться в нашем присутствии о создании временного правительства, которое мы все могли бы признать и которое должно как можно скорее провести свободные выборы. Такой курс мне понравился, и я поддержал президента, когда мы собрались на заседание 7 февраля. Рузвельт снова подчеркнул то, что его беспокоило. Границы, сказал он, имеют важное значение. Однако мы вполне можем помочь полякам создать единое временное правительство или мы можем даже создать его сами,

пока поляки не сумеют сформировать собственное правительство на основе свободных выборов. «Нам нужно предпринять что-то такое, – сказал он, – что явилось бы свежим дуновением в тумане, окружающем сейчас польский вопрос». Затем он спросил Сталина, не хочет ли он дополнить сказанное им накануне.

Сталин ответил, что он получил письмо президента только полтора часа назад и немедленно дал указания разыскать Берута и Моравского, с тем чтобы он мог связаться с ними по телефону. Он только что узнал, что один находится в Кракове, а другой – в Лодзи, и обещал узнать у них, как найти представителей лагеря оппозиции, так как их адреса ему неизвестны. На тот случай, если доставить их в Ялту будет невозможно, Молотов разработал несколько предложений, которые в известной степени идут навстречу рекомендациям президента.

Затем на сцену выступил Молотов, который зачитал следующее резюме:

«1. Считать, что границей Польши на Востоке должна быть линия Керзона с отклонениями от нее в некоторых районах на 5–6 километров в пользу Польши.

2. Считать, что западная граница Польши должна идти от гор. Штеттин (для поляков), далее на юг по р. Одер, а дальше по р. Нейсе (Западной).

3. Признать желательным пополнить временное польское правительство некоторыми демократическими деятелями из эмигрантских польских кругов.

4. Считать желательным признание пополненного временного польского правительства союзными правительствами.

5. Признать желательным, чтобы временное польское правительство, пополненное указанным в п. 3 способом, в возможно короткий срок призвало население Польши к всеобщим выборам для организации постоянных органов государственного управления Польши.

6. Поручить В. М. Молотову, г-ну Гарриману и г-ну Керру обсудить вопрос о пополнении временного польского правительства совместно с представителями временного польского правительства и представить свои предложения на рассмотрение трех правительств».

Рузвельт, казалось, был обрадован. Он заявил, что мы делаем определенные успехи, но он хотел бы обсудить этот вопрос со Стеттиниусом. «Мне не нравится слово „эмигрантские“, – заявил он в заключение. – Я не знаю никого из этих людей, кроме Миколайчика, но я думаю, что нам нужно установить связи не только с „эмигрантами“. Мы могли бы также найти кое-кого в самой Польше».

Сталин согласился отложить обсуждение, но я вмешался, и последующий обмен мнениями можно считать многозначительным в свете дальнейших событий.

Я сказал, что мне, как и президенту, не нравится слово «эмигрантские». Под этим словом первоначально подразумевалась французская аристократия, изгнанная из страны после французской революции, и в своем подлинном значении это слово применялось только к тем, кто был изгнан из своей страны своим собственным народом. Однако заграничные поляки были изгнаны из страны немцами, и я предложил, чтобы слово «эмигрантские» было заменено выражением «поляки за границей». Сталин согласился.

Что касается реки Нейсе, упомянутой во втором пункте предложения Молотова, то я напомнил моим слушателям, что в предыдущих переговорах я всегда делал оговорку к предложению о передвижении польской границы на запад, указывая, что поляки должны иметь право занять территорию на западе, но не большую, чем они хотят или чем они в состоянии освоить. Было бы очень прискорбно, если бы мы так обкормили польского гуся немецкой пищей, что он умер бы от несварения желудка. Мне известно, что в Англии есть значительные круги общественности, которых просто шокирует мысль о насильственном переселении миллионов людей. При разделении греческого и турецкого населения после прошлой войны был достигнут большой успех, и эти страны с тех пор находятся в добрых отношениях; однако в этом случае пришлось переселить менее двух миллионов человек. Если Польша возьмет Восточную Пруссию и Силезию до Одера, уже это будет означать переселение в Германию шести миллионов немцев. Быть может, это и осуществимо, но остается моральный вопрос, который мне придется урегулировать с моим собственным народом.

Сталин заметил, что в этих районах нет немцев, так как они все убежали.

Я возразил, сказав, что возникает вопрос – хватит ли для них места в том, что осталось от Германии. Шесть или семь миллионов немцев убиты, и еще миллион (Сталин считал, что два миллиона) немцев будет, вероятно, убито до конца войны. Поэтому до известной степени для переселенцев должно хватить места. Они понадобятся для заполнения пустоты. Я не боюсь проблемы переселения при условии, что оно соизмеримо с возможностями поляков и с числом людей, которых может принять Германия. Однако этот вопрос требует изучения – не с точки зрения принципа, но с точки зрения числа людей, которых придется переселить.

При этом общем обсуждении мы не прибегали к картам, и различие между Восточной и Западной Нейсе не было отмечено столь ясно, как следовало бы. Впрочем, это должно было стать ясным довольно скоро.

* * *

Когда мы собрались снова 8 февраля, Рузвельт прочел свои новые предложения, основанные на проекте Молотова. «Нет никаких возражений, – сказал он, – против советского предложения, чтобы восточная граница Польши проходила по линии Керзона с изменениями в пользу Польши в некоторых районах на пять – восемь километров». Таким образом, имелся, по крайней мере, один вопрос, по которому мы могли все согласиться. И хотя я призывал русских сделать ряд небольших уступок, казалось желательным не умножать наших затруднений, которые и так были достаточно серьезны. Однако президент твердо и конкретно высказался насчет границы на западе. Он согласился, что Польша должна получить компенсацию за счет Германии, «включая часть Восточной Пруссии к югу от линии Кенигсберга, Верхнюю Силезию и район до линии Одера; однако, – продолжал он, – представляется мало оснований для распространения этого района до Западной Нейсе». Такова всегда была моя точка зрения, и пять месяцев спустя, когда мы встретились снова в Потсдаме, я отстаивал ее очень упорно.

Оставался вопрос о сформировании польского правительства, которое могли бы признать мы все и которое принял бы польский народ. Рузвельт предложил, чтобы президентский комитет из трех польских деятелей, которые поехали бы в Москву, создал временное правительство из представителей Варшавы, Лондона и самой Польши и провел возможно скорее свободные выборы.

После краткого перерыва Молотов высказал свои возражения. Люблинское правительство, сказал он, возглавляет сейчас польский народ. Большинство народа восторженно приветствовало это правительство, которое пользуется большим авторитетом и престижем. О лондонских деятелях этого нельзя сказать. Если бы мы попытались создать новое правительство, сказал Молотов, сами поляки могли бы не согласиться, и поэтому лучше попробовать расширить существующее правительство. Это был бы только временный орган, потому что все наши предложения преследуют лишь одну цель, а именно – скорейшее проведение в Польше свободных выборов. Вопрос о методах расширения существующего правительства лучше всего обсудить

в Москве американскому и английскому послам и ему самому. Он сказал, что он весьма желает соглашения, и принял предложение президента пригласить двух из пяти человек, упомянутых в его письме от 6 февраля. Не исключена возможность, сказал он, что люблинское правительство откажется вести переговоры с некоторыми из них, например с Миколайчиком. Однако, если люблинское правительство пошлет трех представителей, а два будут выбраны из числа лиц, предложенных Рузвельтом, переговоры могли бы начаться немедленно.

«А как насчет создания президентского комитета?» – спросил Рузвельт.

«Лучше отказаться от него, – ответил Молотов. – Это будет означать, что придется иметь дело с двумя органами вместо одного».

«Это, – сказал я, – решающий вопрос для нашей конференции. Весь мир ожидает решения, и если к концу конференции мы все еще будем признавать разные правительства Польши, весь мир увидит, что между нами по-прежнему существуют серьезные разногласия. Последствия этого будут в высшей степени прискорбными, и они наложат на нашу встречу печать провала. С другой стороны, мы явно смотрим с разных точек зрения на основные факты положения в Польше или по крайней мере, на некоторые из них. В соответствии со сведениями, которыми располагает Англия, люблинское правительство не нравится значительному большинству польского народа, и мы не можем считать, что за границей это правительство будет рассматриваться как представляющее народ. Если конференция отмахнется от существующего лондонского правительства и окажет полную поддержку люблинскому правительству, это вызовет возмущение во всем мире. Насколько можно предвидеть, поляки за границей фактически выразят единодушный протест. Под нашим командованием находится польская армия из 150 тысяч человек, где собраны все, кто смог объединиться за пределами Польши. Эта армия сражалась и сражается очень доблестно. Я не верю, что она вообще примирится с люблинским правительством. Если Англия лишит признания правительство, которое она признавала с начала войны, польская армия расценит это как предательство».

«Как хорошо известно маршалу Сталину и г-ну Молотову, – продолжал я, – лично я не соглашаюсь с действиями лондонского правительства, которое постоянно вело себя глупо. Однако если мы официально лишим признания тех, кого мы признавали до сих пор, и признаем это новое правительство, то мы подвергнемся самой серьезной критике. Мы не имеем доступа в эту страну. Мы

не можем ни видеть, ни слышать, каковы там настроения. Будут говорить, что мы можем только полагаться на утверждения люблинского правительства о настроении польского народа. Дебаты, которые за этим последуют, будут в высшей степени неприятны и затруднительны для единства союзников, даже если предположить, что мы смогли бы согласиться на предложения моего друга г-на Молотова.

Я не думаю, – продолжал я, – что эти предложения идут достаточно далеко. Если мы отречемся от польского правительства в Лондоне, то новое начало должно быть положено обеими сторонами на более или менее равных условиях. Все наши разногласия будут, конечно, устранены, если в Польше будут проведены свободные и беспрепятственные всеобщие выборы в условиях всеобщего избирательного права и свободы выдвижения кандидатов. Как только это произойдет, правительство его величества будет приветствовать созданное таким образом правительство, игнорируя польское правительство в Лондоне. Наибольшую тревогу вызывает у нас именно период до выборов».

Меня поддержал президент. Он сказал, что главная цель американцев – скорейшее проведение всеобщих выборов в Польше. Единственный вопрос заключается в том, какое управление Польша должна иметь до тех пор. Он выразил надежду, что выборы можно будет провести до конца года. Поэтому проблему следует считать ограниченной во времени.

* * *

Затем Сталин коснулся моей жалобы на то, что у меня нет информации и нет способов получить ее.

«Я располагаю некоторыми сведениями», – ответил я. «Они не согласуются с моими», – возразил Сталин. Затем он произнес речь, в которой заверил нас, что люблинское правительство действительно очень популярно. В особенности это касается Берута, Осубка-Моравского и генерала Жимерского. Они не покидали страну в период германской оккупации, жили все время в Варшаве и выдвинулись из рядов подпольщиков. Это произвело глубокое впечатление на поляков. Следует учитывать особое настроение людей, которые пережили германскую оккупацию. Они симпатизируют всем, кто не покинул страну в тяжелое время, и считают, что три названных им лица – как раз такие люди. Он сказал, что не думает, чтобы они были гениями. Вполне возможно, что в составе лондонского правительства есть более

умные люди, но их не любят в Польше, потому что их не видели там в период, когда население страдало под гнетом гитлеровской оккупации. Возможно, что такое чувство примитивно, но оно, бесспорно, существует.

Для Польши, сказал он, освобождение страны советскими войсками было великим событием, и этот факт все изменил. Хорошо известно, что поляки не любили русских, потому что последние трижды участвовали в разделе Польши. Однако наступление советских войск и освобождение Польши целиком изменили настроение поляков. Старая вражда исчезла, уступив место доброжелательности и даже восторженному отношению к русским. Это вполне естественно. Население ликовало, видя бегство немцев и почувствовав себя свободным. По словам Сталина, у него создалось впечатление, что население Польши считает изгнание немцев великим патриотическим торжеством в жизни Польши и что оно удивлено тем, что лондонское правительство не приняло никакого участия в этом торжестве польской нации. Поляки видели на улицах членов Временного правительства и спрашивали, где же лондонские поляки. Это подорвало престиж лондонского правительства, и в этом причина большой популярности Временного правительства, хотя оно и не состоит из великих людей.

Сталин считал, что нельзя игнорировать эти факты, если мы хотим понять настроение польского народа. Я говорил, что опасаюсь окончания конференции без достижения соглашения.

Существует недовольство, продолжал Сталин, тем, что польское правительство не было избрано. Естественно, что было бы лучше иметь правительство, созданное на основе свободных выборов, но до сих пор этого не допускала война. Однако приближается день, когда можно будет провести выборы. До тех пор нам следует иметь дело с Временным правительством, как мы имели, например, дело с правительством генерала де Голля во Франции, которое также не было избрано. Мне неизвестно, сказал Сталин, кто пользуется большим авторитетом – Берут или генерал де Голль. Однако заключить договор с генералом де Голлем оказалось возможным. Почему мы не можем так же заключить договор с расширенным польским правительством, которое было бы не менее демократическим? Неразумно требовать от Польши большего, чем от Франции. До сих пор французское правительство не провело никаких реформ, которые вызвали бы восторг во Франции, тогда как польское правительство приняло закон о земельной реформе, который вызвал большой энтузиазм.

«Как скоро, – спросил президент, – можно будет провести

выборы?»

«В пределах месяца, – ответил Сталин, – если не произойдет никакой катастрофы на фронте».

Я сказал, что это, конечно, должно нас успокоить и что мы сможем безоговорочно поддержать свободно избранное правительство, которое заменит все остальное, и мы не должны требовать ничего, что может сколько-нибудь помешать военным операциям. Это главная цель. Если, однако, волю польского народа можно будет выяснить в такой короткий срок или даже в течение двух месяцев, то положение целиком изменится и никто не сможет возражать.

После этого мы согласились предоставить нашим министрам иностранных дел обсудить этот вопрос.

В соответствии с этим решением три министра собрались в полдень 9 февраля. Они не смогли прийти к соглашению. Однако когда конференция собралась на пленарное заседание в 4 часа дня, Молотов представил некоторые новые предложения, которые были значительно ближе к американскому проекту. Предлагалось, чтобы люблинское правительство было «реорганизовано на более широкой демократической базе с включением демократических деятелей из самой Польши, а также из числа поляков, живущих за границей». Молотов должен был проконсультироваться в Москве с английским и американским послами о методах такой реорганизации. После реорганизации люблинское правительство будет обязано как можно скорее провести свободные выборы, и мы затем признаем любое правительство, которое будет создано в результате выборов. С небольшими поправками он принял американский план.

Это было значительным успехом, и я так и сказал. Рузвельт заявил, что разногласия между нами и русскими теперь в основном касаются лишь формулировок.

* * *

Дальний Восток не играл никакой роли в наших официальных переговорах в Ялте. Я знал, что американцы намерены поднять перед русскими вопрос об их участии в войне на Тихом океане. Мы затронули этот вопрос в общих чертах в Тегеране, и в декабре 1944 года Сталин сделал Гарриману в Москве некоторые конкретные предложения относительно послевоенных претензий России в этом районе. Американские военные власти определили, что для разгрома Японии потребуется полтора года после капитуляции Германии. Помощь

русских сократила бы тяжелые потери американцев. Вторжение в собственно Японию в то время было еще в стадии планирования, и генерал Макартур вступил в Манилу лишь на второй день работы Ялтинской конференции. Первый экспериментальный взрыв атомной бомбы предстоял лишь через пять месяцев. Большая японская армия в Маньчжурии могла бы быть брошена на защиту самой Японии, если бы Россия все еще оставалась нейтральной.

Учитывая все это, президент Рузвельт и Гарриман обсудили со Сталиным 8 февраля вопрос о территориальных требованиях России на Дальнем Востоке. Россия согласилась вступить в войну против Японии через два или три месяца после капитуляции Германии.

В тот же день в ходе конфиденциальной беседы со Сталиным я спросил его, чего русские хотят на Дальнем Востоке. Он ответил, что они хотят получить военно-морскую базу, такую, например, как Порт-Артур. Американцы предпочли бы, чтобы порты находились под международным контролем, однако русские хотели бы, чтобы их интересы были гарантированы.

Я ответил, что мы будем приветствовать появление русских кораблей в Тихом океане и высказываемся за то, чтобы потери, понесенные Россией во время русско-японской войны, были восполнены. На другой день, 11 февраля, мне показали соглашение, которое было составлено накануне президентом и Сталиным, и я подписал его от имени английского правительства. Этот документ оставался секретным, пока не кончились переговоры между Советским Союзом и националистическим китайским правительством, которое Сталин в самой решительной форме согласился поддерживать. В таком состоянии этот вопрос оставался почти до того момента, когда мы снова встретились в Потсдаме.

Фиксация мною хода переговоров сохранилась в виде следующей выдержки из телеграммы, которую я направил премьер-министрам доминионов 5 июля:

«1. Под самым строгим секретом Сталин уведомил Рузвельта и меня на Крымской конференции о готовности Советского Союза вступить в войну против Японии через два или три месяца после капитуляции Германии на нижеследующих условиях:

а) Сохранение статус-кво Внешней Монголии.

б) Восстановление прав русских, утраченных в 1904 году, а именно:

(I) Возвращение Южного Сахалина и прилегающих к нему островов.

(II) Интернационализация торгового порта Дайрен при

гарантировании преобладающих интересов СССР, возобновление использования на арендной основе Порт-Артура в качестве советской военно-морской базы.

(III) Совместная эксплуатация советско-китайской компанией Китайско-Восточной железной дороги и Южно-Маньчжурской железной дороги, обеспечивающих выход к Дайрену, при условии, что преобладающие интересы СССР будут гарантированы и что Китай сохранит полностью суверенитет над Маньчжурией.

в) СССР получает Курильские острова.

2. Эти условия были изложены в личном соглашении между Рузвельтом, Сталиным и мной. Соглашение признает, что потребуется согласие Чан Кайши на эти условия, и по совету Сталина Рузвельт взялся добиться этого согласия. Мы все трое договорились добиваться того, чтобы советские требования были удовлетворены безоговорочно после разгрома Японии. В соглашении не содержалось больше ничего, за исключением выражения русскими готовности вступить в договор о союзе с Китаем с целью помочь последнему сбросить японское иго».

* * *

Моя очередь была председательствовать на нашем последнем обеде 10 февраля. За несколько часов до того, как Сталин должен был приехать, в Воронцовский дворец прибыл взвод русских солдат. Они заперли двери по обе стороны приемных залов, в которых должен был проходить обед. Была расставлена охрана, и никому не разрешалось входить. Затем они обыскали все – смотрели под столами, простукивали стены. Моим служащим приходилось выходить из здания, чтобы попасть из служебных помещений в комнаты, где они жили. Когда все было в порядке, маршал прибыл в самом приветливом настроении, а немножко позже прибыл президент.

Во время обеда в Юсуповском дворце Сталин провозгласил тост за здоровье короля в такой форме, что, хотя он и предполагал, что тост получится дружественным и почтительным, мне он не понравился. Сталин сказал, что в общем и целом всегда был против королей и держит сторону народа, а не какого бы то ни было короля, но что в этой войне он научился уважать и ценить английский народ, который уважает и чтит своего короля, и что поэтому он хотел бы провозгласить тост за здоровье английского короля. Я не был удовлетворен такой формулировкой и попросил Молотова разъяснить, что этих тонкостей Сталина можно было бы избежать и предлагать в

дальнейшем тост за здоровье «глав трех государств». Поскольку на это было дано согласие, я тут же ввел в практику новую формулу:

«Я провозглашаю тост за здоровье его королевского величества, президента Соединенных Штатов и президента СССР Калинина – трех глав трех государств».

На это президент, у которого был очень усталый вид, ответил:

«Тост премьер-министра навевает много воспоминаний. В 1933 году моя жена посетила одну из школ у нас в стране. В одной из классных комнат она увидела карту с большим белым пятном. Она спросила, что это за белое пятно, и ей ответили, что это место называть не разрешается. То был Советский Союз. Этот инцидент послужил одной из причин, побудивших меня обратиться к президенту Калинину с просьбой прислать представителя в Вашингтон для обсуждения вопроса об установлении дипломатических отношений. Такова история признания нами России».

Теперь я должен был провозгласить тост за здоровье маршала Сталина. Я сказал:

«Я пил за это несколько раз. На этот раз я пью с более теплым чувством, чем во время предыдущих встреч, не потому, что он стал одерживать больше побед, а потому, что благодаря великим победам и славе русского оружия он сейчас настроен более доброжелательно, нежели в те суровые времена, через которые мы прошли. Я считаю, что, какие бы разногласия ни возникали по тем или иным вопросам, в Англии он имеет доброго друга. Я надеюсь, что в будущем Россию ожидают светлая счастливая жизнь и процветание. Я сделаю все, чтобы этому помочь, и уверен, что то же самое сделает президент. Было время, когда маршал относился к нам не столь благожелательно, и я вспоминаю, что и сам кое-когда отзывался о нем грубо, но наши общие опасности и общая лояльность изгладили все это. Пламя войны выжгло все недоразумения прошлого. Мы чувствуем, что имеем в его лице друга, которому можем доверять, и я надеюсь, что он по-прежнему будет питать точно такие же чувства в отношении нас. Желаю ему долго жить и увидеть свою любимую Россию не только покрытой славой в войне, но и счастливой в дни мира».

Сталин ответил в самом наилучшем настроении, и у меня создалось впечатление, что он счел формулу «главы государств» вполне подходящей для встреч нашей «тройки». У меня нет записи того, что именно он сказал. Вместе с переводчиками нас было не более десяти человек, и по исполнении формальностей

мы беседовали по двое и по трое. Я упомянул, что после поражения Гитлера в Соединенном Королевстве будут проведены всеобщие выборы. Сталин высказал мнение, что моя позиция прочна, «поскольку люди поймут, что им необходим руководитель, а кто может быть лучшим руководителем, чем тот, кто одержал победу?» Я объяснил, что в Англии две партии и что я принадлежу лишь к одной из них. «Когда одна партия – это гораздо лучше», – сказал Сталин с глубокой убежденностью. Затем я поблагодарил его за гостеприимство, оказанное им английской парламентской делегации, посетившей недавно Россию. Сталин ответил, что проявить гостеприимство было его долгом и что ему нравятся молодые воины вроде лорда Ловата. В последние годы у него появился новый интерес в жизни – интерес к военным делам; фактически этот интерес стал у него почти единственным.

После этого президент заговорил об английской конституции. Он сказал, что я всегда твержу о том, что конституция позволяет и чего не позволяет, но что фактически нет никакой конституции, однако неписаная конституция лучше писаной. Она подобна Атлантической хартии: документа не существует, однако весь мир знает о нем. В своих бумагах он нашел единственный экземпляр, на котором стояли его и моя подписи, однако, как это ни странно, обе подписи были сделаны его собственным почерком. Я ответил, что Атлантическая хартия – это не закон, а путеводная звезда.

Далее в разговоре Сталин упомянул о «непомерной дисциплине в кайзеровской Германии» и рассказал случай, который произошел с ним, когда он, будучи молодым человеком, находился в Лейпциге. Он приехал вместе с 200 немецкими коммунистами на международную конференцию. Поезд прибыл на станцию точно по расписанию, однако не было контролера, который должен был отобрать у пассажиров билеты. Поэтому все немецкие коммунисты послушно прождали два часа, прежде чем сошли с платформы. Из-за этого они не попали на заседание, ради которого приехали издалека.

В таких непринужденных разговорах вечер прошел приятно. Когда маршал собрался уходить, многие представители английской делегации собрались в вестибюле дворца, и я воскликнул: «Трижды „ура“ маршалу Сталину!» Троекратное приветствие прозвучало тепло.

Во время нашего пребывания в Ялте был другой случай, когда не все прошло так гладко. Рузвельт, который давал завтрак, сказал, что он и я в секретных телеграммах всегда называем Сталина «Дядя Джо». Я предложил, чтобы он сказал Сталину об

этом в конфиденциальном разговоре, но он пошутил на этот счет при всех. Создалось напряженное положение. Сталин обиделся. «Когда я могу оставить этот стол?» – спросил он возмущенно. Бирнс спас положение удачным замечанием. «В конце концов, – сказал он, – ведь вы употребляете выражение „Дядя Сэм“, так почему же „Дядя Джо“ звучит так уж обидно?» После этого маршал успокоился, и Молотов позднее уверял меня, что он понял шутку. Он уже знал, что за границей многие называют его «Дядя Джо», и понял, что прозвище было дано ему дружески, в знак симпатии.

* * *

Следующий день, воскресенье 11 февраля, был последним днем нашего пребывания в Крыму. Президент торопился на родину и хотел по дороге заехать в Египет, чтобы обсудить дела Среднего Востока с властелинами этих стран. Сталин и я позавтракали с ним в бывшей бильярдной царя в Ливадийском дворце. За завтраком мы подписали заключительные документы и официальные коммюнике. Теперь все зависело от духа, в котором они будут проводиться в жизнь.

В тот же день моя жена и я выехали в Севастополь.

Мне захотелось посмотреть поле битвы у Балаклавы. Днем 13 февраля я побывал там вместе с начальниками штабов и русским адмиралом, командующим Черноморским флотом. Оглядывая местность, можно было представить себе ситуацию, с которой столкнулся лорд Реглан около 90 лет назад. Мы посетили его могилу утром и были очень поражены заботливостью и вниманием, с которыми за ней ухаживали русские.

Утром 14 февраля мы выехали автомобилем в Саки, где нас ожидал наш самолет. На аэродроме был выстроен величественный почетный караул из войск НКВД. Я произвел им смотр в своей обычной манере, заглядывая каждому солдату в глаза.

Подозрения Сталина

К середине февраля 1945 года нацисты поняли, что поражение близко. Возник вопрос – кому сдаваться? Германия уже более не могла вести войну на два фронта. Мир с Советами был явно невозможен. Правители Германии были сами слишком хорошо знакомы с тоталитарным гнетом, чтобы желать импортировать его с Востока. Оставались союзники на Западе. Нельзя ли, рассуждали они, заключить сделку с Великобританией и Соединенными Штатами? Если удастся заключить перемирие на Западе, они смогут сосредоточить свои войска против советского наступления. Упорствовал лишь Гитлер. С третьим рейхом покончено, и он погибнет вместе с ним. Но некоторые из его последователей тайно пытались установить контакт с союзными странами, говорящими на английском языке.

Все предложения, которые они вносили, были, конечно, отвергнуты. Наши условия предусматривали безоговорочную капитуляцию на всех фронтах. В то же самое время наши командующие на поле боя всегда были должным образом уполномочены принимать чисто военную капитуляцию противостоящих им войск противника. Попытка договориться о такой капитуляции в то время, когда мы вели бои на Рейне, привела к резкой перепалке между русскими и президентом, которого я поддерживал.

В феврале генерал Карл Вольф, командующий войсками СС в Италии, через итальянских посредников установил контакт с американской разведкой в Швейцарии. Было решено проверить полномочия лиц, участвующих в этом деле, и этой операции дали шифрованное название «Кроссворд». 8 марта генерал Вольф сам появился в Цюрихе и встретился с Алленом Даллесом, возглавлявшим американскую организацию. Вольфу прямо заявили, что не может быть и речи о переговорах и что разговор может продолжаться лишь на базе безоговорочной капитуляции. Сведения об этом были сразу же переданы в штаб-квартиру союзников, а также американскому и английскому правительствам. 15 марта английский и американский начальники штабов в Казерте генерал Эйри и генерал Лемнитцер тайно отправились в Швейцарию. Четыре дня спустя, 19 марта, состоялась вторая предварительная встреча с генералом Вольфом.

Я сразу же понял, что Советское правительство может заподозрить, что речь идет о сепаратной военной капитуляции на юге, которая позволила бы нашим армиям продвинуться вперед против ослабившего свое сопротивление противника до самой

Вены и далее, даже к Эльбе или Берлину. Поскольку все наши фронты вокруг Германии составляли часть общего союзнического фронта, то, естественно, на русских отразилось бы все то, что могло произойти на любом из этих фронтов. Если установлен какой-либо контакт с противником, официальный или неофициальный, русским следует своевременно сообщить об этом. Этого правила мы придерживались скрупулезно. Ни на одной из стадий не было и речи о том, чтобы скрыть что-либо от русских. Находившиеся в то время в Швейцарии представители союзников даже изучали средства для тайной переброски русского офицера, который присоединился бы к ним, если бы Советское правительство пожелало послать кого-нибудь.

В соответствии с этим 21 марта Иден дал указание нашему послу в Москве сообщить Советскому правительству об этих событиях, что он и сделал. На следующий день Молотов вручил ему письменный ответ:

«В течение двух недель в Берне за спиной Советского Союза, который несет на себе основное бремя войны против Германии, происходили переговоры между представителями германского военного командования, с одной стороны, и представителями английского и американского командования – с другой».

Сэр Арчибальд Кларк Керр, конечно, объяснил, что Советы неправильно поняли то, что случилось, и что «переговоры», о которых идет речь, представляют собой лишь попытку проверить полномочия генерала Вольфа. Комментарии Молотова были грубыми и оскорбительными. «В этом деле, – писал он, – Советское правительство усматривает не какое-либо недоразумение, а нечто худшее».

* * *

Перед лицом такого потрясающего обвинения мне казалось, что лучше молчать, чем состязаться в обвинениях, и 24 марта я написал Идену:

«В данный момент эти переговоры прекратились. Они могут возобновиться в гораздо более важном районе, чем Италия. В таком случае военные и политические вопросы будут переплетаться. Русские, быть может, законно опасаются, что мы можем пойти на сделку на Западе, для того чтобы задержать их как можно дальше на Востоке. В общем лучше не посылать никакого ответа (Молотову), пока мы не снесемся с Вашингтоном, куда вам следует передать русское послание».

Необходимо было также предупредить наших военных

командующих на Западе. Поэтому я показал оскорбительное письмо Молотова Монтгомери и Эйзенхауэру, с которыми я в это время наблюдал за операциями по форсированию Рейна.

Генерала Эйзенхауэра это сильно расстроило; его возмутили обвинения, которые он считал крайне несправедливыми и необоснованными, ставившими под сомнение нашу добропорядочность. Он сказал, что как командующий вооруженными силами он готов принять безоговорочную капитуляцию любой воинской части противника на его фронте, начиная от роты до целой армии, так как считает это чисто военным делом и имеет достаточно широкие полномочия, чтобы принимать такого рода капитуляцию, не спрашивая чьего-либо мнения. Если, однако, возникнут политические вопросы, он немедленно проконсультируется с правительствами. Он опасался, что если бы русских привлекли к обсуждению вопроса о капитуляции вооруженных сил, находившихся под командованием Кессельринга, то проблема, которую он сам мог бы урегулировать в течение одного часа, возможно, затянулась бы на три-четыре недели, что привело бы к тяжелым потерям для наших войск.

Эйзенхауэр дал ясно понять, что он потребовал бы, чтобы все войска, подчиняющиеся офицеру, предлагающему капитуляцию, сложили все свое оружие и оставались на месте до получения дальнейших указаний, с тем чтобы не было никакой возможности перебросить их через Германию для оказания сопротивления русским. Одновременно он постарался бы продвинуться через капитулировавшие войска как можно дальше на Восток.

Я и сам считал, что эти вопросы следует оставить на его усмотрение и что правительства должны вмешаться лишь в том случае, если возникнут какие-либо политические вопросы. Я не видел причины для огорчений в случае, если в результате массовой капитуляции на Западе мы дойдем до Эльбы или даже дальше – до того, как туда дойдет Сталин.

25 марта 1945 г. я писал Идену:

«…Мы должны спросить Соединенные Штаты, какова их позиция и согласятся ли они теперь, чтобы президент и я послали телеграмму Сталину и, во-вторых, чтобы эта телеграмма, как вы говорите, касалась и других вопросов, а именно: доступа в Польшу, отношения к нашим военнопленным, обвинений, ставящих под сомнение нашу добропорядочность в отношении Берна, вопроса о Румынии и т. д.

По-моему, русских нужно держать в курсе с самого начала, и мы должны действовать в соответствии с нашим долгом, нашими явными выгодами и нашим очевидным правом. Они требуют,

чтобы им во всем уступали по каждому вопросу и чтобы они ничего не давали в обмен, за исключением военного давления, которое они никогда еще не оказывали в чьих-либо интересах, кроме своих собственных. Им следует дать почувствовать, что мы также имеем свою точку зрения. По моему мнению, военные представители в случае разногласий в переговорах должны обращаться к своим правительствам до того, как они придут к какому-либо выводу».

* * *

5 апреля я получил от президента поразительный текст его переписки со Сталиным. Вот эти телеграммы:

«Маршал Сталин – президенту Рузвельту. 3 апреля 1945 года.

Получил Ваше послание по вопросу о переговорах в Берне.

Вы совершенно правы, что в связи с историей о переговорах англо-американского командования с немецким командованием где-то в Берне или в другом месте «создалась теперь атмосфера достойных сожаления опасений и недоверия».

Вы утверждаете, что никаких переговоров не было еще. Надо полагать, что Вас не информировали полностью. Что касается моих военных коллег, то они, на основании имеющихся у них данных, не сомневаются в том, что переговоры были и они закончились соглашением с немцами, в силу которого немецкий командующий на западном фронте маршал Кессельринг согласился открыть фронт и пропустить на восток англо-американские войска, а англо-американцы обещались за это облегчить для немцев условия перемирия.

Я думаю, что мои коллеги близки к истине. В противном случае был бы непонятен тот факт, что англо-американцы отказались допустить в Берн представителей советского командования для участия в переговорах с немцами.

Мне непонятно также молчание англичан, которые предоставили Вам вести переписку со мной по этому неприятному вопросу, а сами продолжают молчать, хотя известно, что инициатива во всей этой истории с переговорами в Берне принадлежит англичанам.

Я понимаю, что известные плюсы для англо-американских войск имеются в результате этих сепаратных переговоров в Берне или где-то в другом месте, поскольку англо-американские войска получают возможность продвигаться в глубь Германии почти без всякого сопротивления со стороны немцев, но почему надо было скрывать это от русских и почему не предупредили об этом своих

союзников – русских?

И вот получается, что в данную минуту немцы на западном фронте на деле прекратили войну против Англии и Америки. Вместе с тем немцы продолжают войну с Россией – с союзницей Англии и США.

Понятно, что такая ситуация никак не может служить делу сохранения и укрепления доверия между нашими странами.

Я уже писал Вам в предыдущем послании и считаю нужным повторить здесь, что я лично и мои коллеги ни в коем случае не пошли бы на такой рискованный шаг, сознавая, что минутная выгода, какая бы она ни была, бледнеет перед принципиальной выгодой по сохранению и укреплению доверия между союзниками».

Это обвинение сильно разгневало президента. Его здоровье не позволило ему самому написать ответ. Генерал Маршалл составил следующий ответ, который Рузвельт одобрил. Ответ, безусловно, был составлен в достаточно сильных выражениях.

«Президент Рузвельт – маршалу Сталину.

5 апреля 1945 года.

Я с удивлением получил Ваше послание от 3 апреля, содержащее утверждение, что соглашение, заключенное между фельдмаршалом Александером и Кессельрингом в Берне, позволило «пропустить на восток англо-американские войска, а англо-американцы обещались за это облегчить для немцев условия перемирия».

В моих предыдущих посланиях Вам по поводу попыток, предпринимавшихся в Берне в целях организации совещания для обсуждения капитуляции германских войск в Италии, я сообщал Вам, что: 1) в Берне не происходило никаких переговоров; 2) эта встреча вообще не носила политического характера; 3) в случае любой капитуляции вражеской армии в Италии не будет иметь место нарушение нашего согласованного принципа безоговорочной капитуляции; 4) будет приветствоваться присутствие советских офицеров на любой встрече, которая может быть организована для обсуждения капитуляции.

В интересах наших совместных военных усилий против Германии, которые сейчас открывают блестящую перспективу быстрых успехов в деле распада германских войск, я должен по-прежнему предполагать, что Вы питаете столь же высокое доверие к моей честности и надежности, какое я всегда питал к Вашей честности, и надежности.

Я также полностью оцениваю ту роль, которую сыграла Ваша армия, позволив вооруженным силам, находящимся под командованием генерала Эйзенхауэра, форсировать Рейн, а также

то влияние, которое окажут впоследствии действия Ваших войск на окончательный крах германского сопротивления нашим общим ударам.

Я полностью доверяю генералу Эйзенхауэру и уверен, что он, конечно, информировал бы меня, прежде чем вступить в какое-либо соглашение с немцами. Ему поручено требовать и он будет требовать безоговорочной капитуляции тех вражеских войск, которые могут потерпеть поражение на его фронте. Наше продвижение на западном фронте является результатом военных действий. Скорость этого продвижения объясняется главным образом ужасающим ударом наших военно-воздушных сил, который привел к разрушению германских коммуникаций, а также тем, что Эйзенхауэру удалось подорвать силы основной массы германских войск на западном фронте в то время, когда они находились еще к западу от Рейна.

Я уверен, что в Берне никогда не происходило никаких переговоров, и считаю, что имеющиеся у Вас об этом сведения, должно быть, исходят из германских источников, которые упорно старались вызвать разлад между нами с тем, чтобы в какой-то мере избежать ответственности за совершенные ими военные преступления. Если таковой была цель Вольфа, то Ваше послание доказывает, что он добился некоторого успеха.

Будучи убежден в том, что Вы уверены в моей личной надежности и в моей решимости добиться вместе с Вами безоговорочной капитуляции нацистов, я удивлен, что Советское Правительство, по-видимому, прислушалось к мнению о том, что я вступил в соглашение с врагом, не получив сначала Вашего полного согласия.

Наконец, я хотел бы сказать, что если бы как раз в момент победы, которая теперь уже близка, подобные подозрения, подобное отсутствие доверия нанесли ущерб всему делу после колоссальных жертв – людских и материальных, то это было бы одной из величайших трагедий в истории.

Откровенно говоря, я не могу не чувствовать крайнего негодования в отношении Ваших информаторов, кто бы они ни были, в связи с таким гнусным, неправильным описанием моих действий или действий моих доверенных подчиненных».

* * *

На следующий день я лично написал Сталину:

«1. Президент послал мне письма, которыми Вы обменялись с ним о контакте, установленном в Швейцарии между одним

британским и одним американским офицерами из ставки фельдмаршала Александера и германским генералом по фамилии Вольф по вопросу о возможной капитуляции армии Кессельринга в Северной Италии. Поэтому я нахожу уместным послать Вам точное изложение фактов, касающихся действий Правительства Его Величества. Как только мы узнали об этом контакте, мы немедленно 12 марта уведомили Советское Правительство, причем мы и Правительство Соединенных Штатов честно сообщили Вам обо всем, что произошло. Все это дело в Швейцарии, которое упоминалось или о котором шла речь в каком-либо отношении, сводилось лишь к тому, чтобы проверить полномочия германского эмиссара и попытаться устроить встречу между уполномоченным Кессельринга и фельдмаршалом Александером в его ставке или в каком-либо удобном пункте в Северной Италии. В Швейцарии не было никаких переговоров, даже о военной капитуляции армии Кессельринга. Тем более в наши намерения, которые не носят такого позорного характера, как о том высказывается предположение, не входил какой-либо военно-политический сговор, как утверждается в Вашей телеграмме Президенту.

Ваши представители были немедленно приглашены на встречу, которую мы пытались устроить в Италии. Если бы она состоялась и если бы Ваши представители прибыли, то они слышали бы каждое произнесенное слово.

Мы считаем, что фельдмаршал Александер имеет полное право принимать на своем фронте в Италии капитуляцию германской армии, состоящей из 25 дивизий, и обсуждать вопросы капитуляции с германскими эмиссарами, облеченными полномочиями договориться об условиях капитуляции. Тем не менее мы специально предусмотрели приглашение Ваших представителей на эти чисто военные переговоры в его ставке, если бы они состоялись. Однако в действительности из всех контактов в Швейцарии ничего не вышло. Наши офицеры возвратились из Швейцарии, не добившись успеха в деле организации в Италии встречи с эмиссарами Кессельринга. Обо всем этом Советское Правительство было полностью уведомлено шаг за шагом фельдмаршалом Александером или сэром А. Кларком Керром, а также через соответствующие каналы Соединенных Штатов. Я повторяю, что никаких переговоров в Швейцарии какого-либо рода официально или неофициально мы не начинали и к ним даже не приступали.

Однако имеется возможность, что вся эта просьба о переговорах, с которой обратился германский генерал Вольф, была одной из тех попыток, которые предпринимаются врагом с

целью посеять недоверие между союзниками. Фельдмаршал Александер особо подчеркнул это в телеграмме, отправленной 11 марта, в которой он заметил: «Прошу обратить внимание, что два руководящих лица являются людьми СС и Гиммлера, что вызывает у меня большое подозрение». Копия этой телеграммы была послана Британскому Послу в Москве 12 марта для передачи Советскому Правительству. Если немцы намеревались посеять недоверие между нами, то они на время достигли этого.

Сэру А. Кларку Керру было поручено г-ном Иденом объяснить все положение дел г-ну Молотову в его письме от 21 марта. В ответе от 22 марта, полученном им от г-на Молотова, содержалась следующая фраза: «Советское Правительство в данном деле видит не недоразумение, а нечто худшее». В этом ответе было выражено также недовольство по поводу того, что «в Берне в течение двух недель за спиной Советского Союза, несущего на себе основную тяжесть войны против Германии, ведутся переговоры между представителями германского военного командования, с одной стороны, и представителями английского и американского командования – с другой». В интересах англо-русских отношений Правительство Его Величества решило не давать какого-либо ответа на это крайне оскорбительное и необоснованное обвинение, а решило игнорировать его. Это является причиной того, что Вы в своем послании Президенту называете «молчанием англичан». Мы считали, что будет лучше промолчать, чем ответить на такое письмо, которое было послано г-ном Молотовым. Но можете быть уверены, что мы были удивлены этим письмом и оскорблены тем, что г-н Молотов приписывает нам такое поведение. Однако это никоим образом не отразилось на наших указаниях фельдмаршалу Александеру продолжать держать Вас полностью в курсе дела.

Неправильно также, что инициатива в этом деле исходила, как Вы заявляете Президенту, полностью от англичан. В действительности переданная фельдмаршалу Александеру информация о том, что германский генерал Вольф хочет установить контакт в Швейцарии, была доставлена ему одним американским органом.

Между контактом в Берне или где-либо еще и полным поражением германских войск на западном фронте нет никакой связи. В действительности они сражались с большим упорством и нанесли нашим и американским войскам с начала нашего февральского наступления по 28 марта потери, которые превышают 87 000 человек. Однако, имея перед собой численно превосходящие силы на земле и будучи буквально подавленными

в воздухе значительно превосходящими англо-американскими военно-воздушными силами, которые только в марте сбросили свыше 200 000 тонн бомб на Германию, германские армии на Западе были наголову разбиты. Тот факт, что они имели перед собой численно превосходящие наземные силы на Западе, объясняется великолепными ударами и мощью советских армий.

Что касается обвинений, которые Вы выдвигаете в Вашем послании Президенту от 3 апреля, которые также чернят Правительство Его Величества, я и мои коллеги солидаризируемся с последней фразой ответа Президента».

* * *

7 апреля Сталин ответил на упрек президента.

«Маршал Сталин – президенту Рузвельту.

7 апреля 1945 года.

Получил Ваше послание от 5 апреля.

В моем послании от 3 апреля речь идет не о честности и надежности. Я никогда не сомневался в Вашей честности и надежности, так же как и в честности и в надежности г-на Черчилля. У меня речь идет о том, что в ходе переписки между нами обнаружилась разница во взглядах на то, что может позволить себе союзник в отношении другого союзника и чего он не должен позволить себе.

Мы, русские, думаем, что в нынешней обстановке на фронтах, когда враг стоит перед неизбежностью капитуляции, при любой встрече с немцами по вопросам капитуляции представителей одного из союзников должно быть обеспечено участие в этой встрече представителей другого союзника. Во всяком случае это безусловно необходимо, если этот союзник добивается участия в такой встрече.

Американцы же и англичане думают иначе, считая русскую точку зрения неправильной. Исходя из этого, они отказали русским в праве на участие во встрече с немцами в Швейцарии. Я уже писал Вам и считаю не лишним повторить, что русские при аналогичном положении ни в коем случае не отказали бы американцам и англичанам в праве на участие в такой встрече. Я продолжаю считать русскую точку зрения единственно правильной, так как она исключает всякую возможность взаимных подозрений и не дает противнику возможности сеять среди нас недоверие.

Трудно согласиться с тем, что отсутствие сопротивления со стороны немцев на западном фронте объясняется только лишь

тем, что они оказались разбитыми. У немцев имеется на восточном фронте 147 дивизий. Они могли бы без ущерба для своего дела снять с восточного фронта 15–20 дивизий и перебросить их на помощь своим войскам на западном фронте. Однако немцы этого не сделали и не делают. Они продолжают с остервенением драться с русскими за какую-то малоизвестную станцию Земляницу в Чехословакии, которая им столько же нужна, как мертвому припарки, но безо всякого сопротивления сдают такие важные города в центре Германии, как Оснабрюк, Мангейм, Кассель. Согласитесь, что такое поведение немцев является более чем странным и непонятным.

Что касается моих информаторов, то, уверяю Вас, это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на деле.

Судите сами. В феврале этого года генерал Маршалл дал ряд важных сообщений Генеральному Штабу советских войск, где он на основании имеющихся у него данных предупреждал русских, что в марте месяце будут два серьезных контрудара немцев на восточном фронте, из коих один будет направлен из Померании на Торн, а другой – из района Моравска Острава на Лодзь. На деле, однако, оказалось, что главный удар немцев готовился и был осуществлен не в указанных выше районах, а в совершенно другом районе, а именно в районе озера Балатон, юго-западнее Будапешта. Как известно теперь, в этом районе немцы собрали до 35 дивизий, в том числе 11 танковых дивизий. Это был один из самых серьезных ударов за время войны, с такой большой концентрацией танковых сил.

Маршалу Толбухину удалось избегнуть катастрофы и потом разбить немцев наголову между прочим потому, что мои информаторы раскрыли, правда с некоторым опозданием, этот план главного удара немцев и немедленно предупредили о нем маршала Толбухина. Таким образом я имел случай еще раз убедиться в аккуратности и осведомленности советских информаторов…»

Он также послал копию своей телеграммы мне со следующей личной припиской:

«…В своем послании Президенту от 7 апреля, которое посылаю также Вам, я уже ответил на все основные вопросы, затронутые в Вашем послании относительно переговоров в Швейцарии. Что касается других вопросов, затронутых в Вашем послании, считаю нужным сказать Вам следующее.

Ни я, ни Молотов не имели намерения «чернить» кого-либо. Дело не в желании «чернить», а в том, что у нас выявились тут

разные точки зрения по вопросу об обязанностях и правах союзника. Из моего послания на имя Президента Вы увидите, что русская точка зрения по этому вопросу является правильной, так как она гарантирует права любого союзника и отнимает у врага всякую возможность сеять недоверие между нами.

Мои послания являются личными и строго секретными. Это дает возможность высказываться ясно и откровенно. В этом плюс секретной переписки. Но если Вы будете каждое мое откровенное заявление принимать за оскорбление, то это очень затруднит такую переписку. Могу заверить Вас, что у меня не было и нет намерения оскорбить кого-либо».

* * *

На следующий день президент сообщил мне, что он посылает Сталину следующее послание:

«Благодарю Вас за искреннее объяснение советской точки зрения на бернский инцидент, который сейчас, видимо, отошел в прошлое, не дав никаких полезных результатов.

Во всяком случае, мы не должны допускать взаимного недоверия, и подобного рода мелкие недоразумения не должны возникать в будущем. Я уверен, что, когда наши армии установят между собой контакт в Германии и объединятся в полностью координированном наступлении, нацистские армии будут разгромлены».

И позже (12 апреля 1945 г.):

«Я склонен преуменьшить значение общей советской проблемы, насколько это возможно, поскольку такие проблемы в той или иной форме, очевидно, возникают каждый день и большинство из них устраняется, как это имело место в случае с бернской встречей.

Однако мы должны быть твердыми, и курс, которого мы до сих пор придерживались, является правильным».

«Железный занавес»

В середине апреля стало ясно, что гитлеровская Германия в скором времени будет полностью уничтожена. Армии вторжения рвались вперед со всей своей мощью, и расстояние между ними сокращалось с каждым днем. Гитлер размышлял, где бы ему оказать последнее сопротивление. Еще 20 апреля он продолжал думать о том, чтобы перебраться из Берлина в «Южный редут» в Баварских Альпах. В тот день он созвал совещание главных нацистских лидеров. Поскольку германскому двойному фронту, выходившему одновременно на восток и на запад, угрожала непосредственная опасность быть разрезанным надвое наступающими авангардами союзников, Гитлер согласился создать два отдельных командования. Адмиралу Деницу было поручено руководить на севере как военными, так и гражданскими властями, и, в частности, на него была возложена задача доставить обратно на немецкую землю почти два миллиона беженцев с Востока. На юге генерал Кессельринг должен был командовать уцелевшими германскими армиями. Эти мероприятия должны были вступить в силу в случае падения Берлина.

Двумя днями позже, 22 апреля, Гитлер принял свое последнее и окончательное решение остаться в Берлине до конца. Вскоре столица была полностью окружена русскими, и фюрер утратил всякую способность контролировать события. Ему оставалось лишь организовать свою собственную смерть среди развалин города. Оставшимся вместе с ним нацистским руководителям он объявил, что умрет в Берлине. После совещания 20 апреля Геринг и Гиммлер покинули Берлин с тайной мыслью о мирных переговорах. Геринг, поехавший на юг, предположил, что своим решением остаться в Берлине Гитлер фактически отрекся от власти. И тогда Геринг попросил подтвердить его полномочия, а именно – что он должен действовать в качестве преемника фюрера. Ответом было немедленное смещение его со всех постов.

Последние сцены, происходившие в штаб-квартире Гитлера, описывались довольно подробно в других источниках. Из видных фигур его режима только Геббельс и Борман оставались с ним до самого конца. Русские войска уже дрались на улицах Берлина. В ночь на 29 апреля Гитлер составил свое завещание. Следующий день начался обычной работой в бомбоубежище под имперской канцелярией. В течение дня пришло известие о конце, постигшем Муссолини. Момент его получения зловеще соответствовал всему остальному. Гитлер спокойно позавтракал со своей свитой;

окончив завтрак, он пожал руки всем присутствующим и ушел в свое личное помещение. В половине четвертого раздался выстрел. Сотрудники его личного штаба, зайдя в комнату, увидели, что он лежит на диване, сбоку – револьвер. Он покончил с собой выстрелом в рот, рядом с ним лежала мертвая Ева Браун, с которой он тайно обвенчался в один из последних дней. Она отравилась. Трупы их были сожжены во дворе; погребальный костер Гитлера, пылавший под усиливавшийся грохот русских пушек, ознаменовал страшный конец третьей империи.

Оставшиеся руководители провели последнее совещание. В последнюю минуту были предприняты попытки начать переговоры с русскими, но Жуков потребовал безоговорочной капитуляции. Борман предпринял попытку прорваться сквозь русские линии и бесследно исчез. Геббельс отравил шестерых своих детей, а затем приказал какому-то эсэсовцу застрелить его жену и его самого. Остальные сотрудники гитлеровской штаб-квартиры попали в руки русских.

В этот вечер адмирал Дениц в своей штаб-квартире в Гольштейне получил следующую телеграмму: «Вместо бывшего рейхсмаршала Геринга фюрер назначает вас, герр гросс-адмирал, своим преемником. Письменные полномочия – в пути. Немедленно примите все меры, каких требует положение. Борман».

Воцарился хаос. Дениц, поддерживавший связь с Гиммлером и полагавший, что последний будет назначен преемником Гитлера в случае падения Берлина, вдруг обнаружил, что внезапно на его плечи без предупреждения взвалили наивысшую ответственность. Перед ним встала задача организовать капитуляцию.

Документ о полной и безоговорочной капитуляции был подписан 7 мая, в 2 часа 41 минуту утра, генералом Беделлом Смитом и генералом Йодлем в присутствии французских и русских офицеров как свидетелей. На основе этого документа все военные действия прекращались в полночь 8 мая. Официальная ратификация германским верховным командованием, организованная русскими, состоялась в Берлине в ночь на 9 мая. Главный маршал авиации Теддер подписал акт о капитуляции от имени Эйзенхауэра, маршал Жуков от имени русских и фельдмаршал Кейтель от имени Германии.

* * *

…Когда я пробирался сквозь толпы ликующих лондонцев в

час их радости, вполне заслуженной после всего того, что им пришлось пережить, мой ум занимали опасения за будущее и многочисленные сложные проблемы. В этом сиянии славы большинству из них казалось, что гитлеровская опасность со всеми ее тяжелыми испытаниями и лишениями канула в прошлое. Грозный враг, с которым они сражались более пяти лет, безоговорочно капитулировал. Единственное, что оставалось сделать трем державам-победительницам, это установить справедливый и прочный мир, охраняемый всемирным органом, вернуть солдат на родину к истосковавшимся по ним родным и близким и вступить в золотой век процветания и прогресса. Это минимальное – думали народы этих стран.

Однако у медали имелась оборотная сторона. Еще не была побеждена Япония. Атомная бомба еще не родилась. Мир был в смятении. Основа связи – общая опасность, объединявшая великих союзников, – исчезла мгновенно. В моих глазах советская угроза уже заменила собой нацистского врага. Но объединения, направленного против нее, не существовало. У нас в стране основа национального единства, на которую так твердо опиралось правительство военного времени, также исчезала. Нашей силе, одолевшей так много бурь, не суждено будет долго сохраниться в солнечный день. Но в таком случае как сможем мы прийти к тому окончательному урегулированию, которое только одно может вознаградить за труды и страдания, связанные с войной? Я не мог избавиться от страха перед тем, что победоносные армии демократии скоро разбредутся, в то время как настоящее и самое трудное наше испытание еще впереди.

В эти дни я направил президенту Трумэну, сменившему в руководстве США внезапно скончавшегося Рузвельта, телеграмму, если можно так выразиться, телеграмму «железного занавеса». Из всех государственных документов, написанных мною по этому вопросу, я предпочел бы, чтобы обо мне судили именно на основании этого послания.

«Президенту Трумэну. 12 мая 1945 года.

«1. Я глубоко обеспокоен положением в Европе. Мне стало известно, что половина американских военно-воздушных сил в Европе уже начала переброску на Тихоокеанский театр военных действий. Газеты полны сообщений о крупных перебросках американских армий из Европы. Согласно прежним решениям наши армии, по-видимому, также заметно сократятся. Канадская армия наверняка будет отозвана. Французы слабы, и с ними трудно иметь дело. Каждый может понять, что через очень короткий промежуток времени наша вооруженная мощь на континенте исчезнет, не считая умеренных сил, необходимых для

сдерживания Германии.

А тем временем как насчет России? Я всегда стремился к дружбе с Россией, но так же, как и у вас, у меня вызывает глубокую тревогу неправильное истолкование русскими ялтинских решений, их позиция в отношении Польши, их подавляющее влияние на Балканах, исключая Грецию, трудности, чинимые ими в вопросе о Вене, сочетание русской мощи и территорий, находящихся под их контролем или оккупацией, с коммунистическими методами в столь многих других странах, а самое главное – их способность сохранить на фронте в течение длительного времени весьма крупные армии. Каково будет положение через год или два, когда английские и американские армии растают и исчезнут, а французская еще не будет сформирована в сколько-нибудь крупных масштабах, когда у нас, возможно, будет лишь горстка дивизий, в основном французских, тогда как Россия, возможно, решит сохранить на действительной службе 200–300 дивизий?

Железный занавес опускается над их фронтом. Мы не знаем, что делается позади него. Можно почти не сомневаться в том, что весь район восточнее линии Любек, Триест, Корфу будет в скором времени полностью в их руках. К этому нужно добавить простирающийся дальше огромный район, завоеванный американскими армиями между Эйзенахом и Эльбой, который, как я полагаю, будет через несколько недель – когда американцы отступят – оккупирован русскими силами. Генералу Эйзенхауэру придется принять все возможные меры для того, чтобы предотвратить новое бегство огромных масс германского населения на Запад при этом гигантском продвижении московитов в центр Европы. И тогда занавес снова опустится очень намного, если не целиком. И, таким образом, широкая полоса оккупированной русскими территории протяжением во много сот миль отрежет нас от Польши.

Тем временем внимание наших народов будет отвлечено навязыванием сурового обращения с Германией, которая разорена и повержена, и в весьма скором времени перед русскими откроется дорога для продвижения, если им это будет угодно, к водам Северного моря и Атлантического океана.

Безусловно, сейчас жизненно важно прийти к соглашению с Россией или выяснить наши с ней отношения, прежде чем мы смертельно ослабим свои армии или уйдем в свои зоны оккупации. Это может быть сделано только путем личной встречи. Я буду чрезвычайно благодарен Вам за высказанное Вами мнение и совет. Конечно, мы можем прийти к мнению, что Россия будет вести себя безупречно, и это, несомненно, наиболее

удобный выход. Короче говоря, с моей точки зрения, проблема урегулирования с Россией прежде, чем наша сила исчезнет, затмевает все остальные проблемы».

* * *

1 июня президент Трумэн сказал мне, что маршал Сталин согласен, как он выразился, на встречу «тройки» в Берлине примерно 15 июля. Я немедленно ответил, что буду рад прибыть в Берлин с английской делегацией, но что, по-моему, 15 июля, предложенное Трумэном, будет слишком поздней датой для решения неотложных вопросов, требующих нашего внимания, и что мы причиним ущерб надеждам и единству всего мира, если позволим своим личным или национальным нуждам помешать организации более скорой встречи. «Хотя у нас самый разгар напряженной предвыборной кампании, – телеграфировал я, – я не считал бы свои дела здесь сравнимыми со встречей нас троих. Если 15 июня неприемлемо, то почему бы не 1, 2 или 3 июля?» Трумэн ответил, что после тщательного рассмотрения этого вопроса решено, что 15 июля для него самый близкий срок и что меры принимаются соответственно. Сталин не хотел приближать эту дату.

4 июня 1945 г. я отправил письмо Трумэну:

«Я уверен, что Вы понимаете причину, почему я настаиваю на более ранней дате, скажем, 3-го или 4-го (июля). Отход американской армии к нашей линии оккупации в центральном секторе, в результате чего советская держава окажется в самом сердце Западной Европы и между нами и всем тем, что находится восточнее, опустится „железный занавес“, вызывает у меня самые мрачные предчувствия. Я надеялся, что этот отход, если он должен быть совершен, будет сопровождаться урегулированием многих важных вопросов, что могло бы послужить подлинным фундаментом всеобщего мира. Пока что ни один действительно важный вопрос не был урегулирован, а Вам и мне придется нести большую ответственность за будущее. Поэтому я все еще надеюсь, что дата встречи будет приближена».

Я подкрепил этот довод указанием на своевольные действия русских в Вене:

«1. Маршал Толбухин приказал, чтобы наши миссии выехали из Вены 10 или 11 июня. Им не позволили ничего осмотреть за пределами города, и союзникам разрешается пользоваться только одним аэродромом. Это – столица Австрии, которая по соглашению должна быть разделена, как и сама страна, на четыре

зоны; но, кроме русских, там никто не имеет никакой власти, и мы лишены там даже обычных дипломатических прав. Если мы уступим в этом вопросе, мы должны будем рассматривать Австрию как относящуюся к советизированной половине Европы.

2. С другой стороны, русские требуют отвода американских и английских сил в Германии к оккупационной линии, установленной очень давно и при совершенно иной обстановке, и Берлин, конечно, пока что полностью советизирован.

3. Не лучше ли было бы отказаться отвести войска на главном европейском фронте до тех пор, пока не будут урегулированы вопросы, касающиеся Австрии? Не считаете ли Вы, что, по крайней мере, все соглашение о зонах, безусловно, должно бы быть претворено в жизнь в одно и то же время?

4. Государственному департаменту была отправлена телеграмма, описывающая действительное положение наших миссий в Вене, которые, я полагаю, выедут, как приказано, 10 или 11 июня, предварительно заявив протест».

12 июня президент ответил на мою телеграмму от 4 июня.

Он заявил, что трехстороннее соглашение об оккупации Германии, одобренное президентом Рузвельтом после «тщательного рассмотрения и подробного обсуждения» со мной, делает невозможной отсрочку отвода американских войск из советской зоны для того, чтобы добиться урегулирования других вопросов. Пока войска не будут отведены, Союзный контрольный совет не может начать функционировать, а военному управлению, осуществляемому верховным союзным командующим, должен быть без задержки положен конец, и оно должно быть разделено между Эйзенхауэром и Монтгомери. Его советники ему заявили, сообщал президент, что отсрочка до нашей встречи в июле причинила бы ущерб нашим отношениям с Советским Союзом, и он предлагал послать соответствующую телеграмму Сталину.

В этом документе предлагалось, чтобы мы немедленно дали указания нашим армиям оккупировать соответствующие зоны. Что касается Германии, то он готов был отдать приказ всем американским войскам начать отход 21 июня. Командующие должны договориться об одновременной оккупации Берлина и о свободном движении туда и оттуда американских вооруженных сил по шоссейным и железным дорогам и по воздуху из Франкфурта. В Австрии все это можно было сделать быстрее и лучше, поручив командующим на месте установить границы зон в стране и в Вене, обращаясь к своим правительствам только по таким вопросам, какие они не смогут разрешить сами.

Для меня это прозвучало как погребальный звон. Но мне ничего не оставалось, как только подчиниться.

* * *

Президент Трумэн прибыл в Берлин в тот же день, что и я. Я горел желанием встретиться с государственным деятелем, с которым, несмотря на разногласия, у меня установились сердечные отношения благодаря переписке. Я посетил его в день нашего прибытия, и на меня произвели большое впечатление его веселость, точная и яркая манера выражаться и явная способность принимать решения.

На следующий день и президент, и я, каждый по отдельности, совершили поездку по Берлину. Город представлял собой сплошные руины. О нашей поездке, конечно, не сообщалось заранее, и на улицах нам встречались лишь обычные пешеходы. Но на площади перед имперской канцелярией собралась большая толпа. Когда я вышел из машины и пробирался через толпу, все, за исключением одного старика, который неодобрительно покачивал головой, начали приветствовать меня. Моя ненависть к немцам улеглась после того, как они капитулировали, и их приветствия, а также изнуренный вид и поношенная одежда меня очень растрогали. Затем мы вошли в здание канцелярии и довольно долго бродили среди полуразрушенных коридоров и залов. Потом сопровождавшие нас русские провели нас в бомбоубежище Гитлера. Я спустился в самый низ и увидел комнату, в которой покончили с собой Гитлер и его любовница, а когда мы поднялись наверх, нам показали место, где сожгли его труп. От осведомленных людей мы услышали самый подробный рассказ, какой можно было услышать в то время об этих финальных сценах.

Исход, избранный Гитлером, был гораздо более удобным для нас, чем тот, которого я опасался. В любой момент в течение последних нескольких месяцев войны он мог прилететь в Англию и сдаться со словами: «Делайте со мной, что хотите, но пощадите мой введенный в заблуждение народ». Я не сомневаюсь, что он разделил бы участь нюрнбергских преступников. Моральные нормы современной цивилизации, очевидно, предписывают победителям казнить руководителей нации, понесшей поражение в войне. Это, несомненно, побудит их бороться до конца в любой будущей войне, независимо от того, сколько лишних жертв это потребует. Расплачиваться за это будут массы народа, от которых так мало зависит начало или окончание войн.

18 июля я завтракал с президентом. Мы были одни и затронули многие темы. Я говорил о печальном положении в Великобритании, израсходовавшей более половины своих иностранных капиталовложений на общее дело, когда мы

боролись совсем в одиночку, и теперь вышедшей из войны с большим внешним долгом в три миллиарда фунтов стерлингов. Этот долг накопился в результате закупок, которые делались в Индии, Египте и других странах, в которых не действовал ленд-лиз, и это заставит нас ежегодно экспортировать, ничего не импортируя взамен, для того, чтобы иметь возможность пополнять фонд зарплаты. Нам придется попросить помощи для того, чтобы снова стать на ноги, а до тех пор, пока мы не сумеем как следует наладить свое хозяйство, мы не сможем оказать особенной помощи в обеспечении всемирной безопасности. Президент сказал, что он сделает все, что в его силах. Но я, конечно, знал, с какими трудностями он может столкнуться в своей стране.

Президент затронул вопрос об авиации и коммуникациях. Ему пришлось столкнуться с большими трудностями в вопросах создания аэродромов на британской территории, в особенности в Африке, на строительство которых американцы затратили огромные средства. Мы должны пойти им навстречу в этом отношении и разработать справедливый план общего их использования. Я заверил его, что если я по-прежнему буду нести ответственность за правительство, то я вновь вернусь к обсуждению этого вопроса с ним лично.

Президент, видимо, был вполне согласен со мной, если только это все удастся соответствующим образом представить и если это не будет иметь явную форму военного союза двух стран. Он не сказал именно этих слов, но таково было впечатление, которое я вынес. Поощренный этим, я стал излагать ему мысль, которая у меня явилась уже давно, о необходимости сохранить объединенный англо-американский штаб как организацию, во всяком случае до тех пор, пока мир окончательно не успокоится после великого шторма, и до тех пор, пока не будет создана всемирная организация, настолько прочная и дееспособная, что мы смело сможем довериться ей.

Президент ответил на это весьма утешительно. Я видел, что передо мной человек исключительного характера и способностей, взгляды которого в точности соответствовали установившемуся направлению англо-американских отношений, у которого была простая и ясная манера речи, большая уверенность в себе и решительность.

* * *

В тот же вечер 18 июля я обедал со Сталиным. С нами были

только Бирс и Павлов. Мы приятно беседовали с половины девятого вечера до половины второго ночи, не затронув ни одной из наиболее важных тем. Майор Бирс затем представил мне довольно подробную запись беседы, которую я здесь привожу вкратце. Мой хозяин казался физически несколько подавленным, но его легкая дружелюбная манера держаться была в высшей степени приятной.

Он спросил, почему король не приехал в Берлин. Я ответил, что это объясняется тем, что его приезд осложнил бы проблемы безопасности. Затем он заявил, что ни одной стране так не нужна монархия, как Великобритании, ибо королевская власть служит объединяющей силой для всей империи, и никто из друзей Англии не сделает ничего, что ослабило бы уважение к монархии.

Наша беседа продолжалась. Я сказал, что, согласно моей политике, следует приветствовать Россию в качестве великой морской державы. Я хотел бы, чтобы русские корабли ходили по всем океанам мира. Россия до сих пор напоминала гиганта, перед которым закрыты широкие пути и которому приходится пользоваться узкими выходами через Балтийское и Черное моря. Затем я затронул вопрос о Турции и Дарданеллах. Естественно, что турки тревожатся.

Сталин объяснил, что произошло в действительности. Турки обратились к русским с предложением заключить договор о союзе. В ответ русские заявили, что договор можно заключить лишь в том случае, если ни одна из сторон не имеет никаких притязаний, а Россия хочет получить Каре и Ардаган, которые у нее отобрали в конце прошлой войны. Турки ответили, что они не могут рассматривать этот вопрос. Тогда Россия поставила вопрос о конвенции в Монтрэ. Турки ответили, что они и этого вопроса не могут обсуждать, и поэтому Россия заявила, что она не может обсуждать договор о союзе.

Я сказал, что я лично поддержал бы внесение поправок в конвенцию в Монтрэ, исключив из нее Японию и дав России доступ в Средиземное море. Я повторил, что приветствовал бы выход России в океаны, а это касается не только Дарданелл, но также Кильского канала, в отношении которого нужно установить такой же режим, как и в отношении Суэцкого канала, и выхода в теплые воды Тихого океана. Это не объясняется благодарностью за что-либо совершенное Россией, а просто такова моя твердая политика.

Затем Сталин спросил меня о германском флоте. Он сказал, что какая-то часть этого флота была бы весьма полезна России, понесшей тяжелые потери на море. Он выразил благодарность за суда, которые мы передали ему после капитуляции итальянского

флота, но он хотел бы также получить и свою долю германских кораблей. Я не возражал.

Далее он заговорил о греческой агрессии на границах Болгарии и Албании. Он сказал, что в Греции есть элементы, подстрекающие к волнениям. Я ответил, что положение на границах неопределенное и что греков очень тревожат Югославия и Болгария, но я не слыхал, чтобы там происходили сколько-нибудь серьезные бои. Конференция должна ясно заявить о своей воле этим малым державам, и ни одной из них нельзя разрешить нарушать границы или начинать сражения. Им нужно об этом заявить ясно и определенно и заставить их понять, что всякое изменение границ может быть произведено только на мирной конференции. В Греции должны быть проведены плебисцит и свободные выборы, и я предложил, чтобы великие державы послали своих наблюдателей в Афины. Сталин высказал мнение, что это будет свидетельствовать о недостатке доверия к честности греческого народа. Он считал, что о ходе выборов должны сообщать послы великих держав.

Затем он спросил мое мнение о Венгрии. Я ответил, что я недостаточно информирован для того, чтобы сообщать свое мнение о положении в данный момент, но что я запрошу министра иностранных дел.

Сталин сказал, что во всех странах, освобожденных Красной Армией, русская политика состоит в том, чтобы добиваться создания сильного, независимого суверенного государства. Он против советизации какой бы то ни было из этих стран. Там будут проведены свободные выборы, в которых будут участвовать все партии, за исключением фашистских.

Далее я заговорил о трудностях в Югославии, где у нас нет материальных притязаний, но где предусматривалось деление наших интересов поровну. Сейчас соотношение там не 50:50, а 99:1 не в пользу Англии. Сталин утверждал, что соотношение там таково: 90 процентов в пользу Англии, 10 процентов в пользу Югославии и 0 процентов в пользу России. Советское правительство часто не знает, что собирается предпринять Тито.

Сталин также заявил, что он был уязвлен американским требованием сменить правительства в Румынии и Болгарии. Он не вмешивается в греческие дела, и поэтому американцы поступают несправедливо. Я сказал, что я еще не видел американских предложений. Сталин объяснил, что в странах, где были эмигрантские правительства, он счел необходимым помочь в создании внутренних правительств. Это, конечно, не касается Румынии и Болгарии, где все происходило мирно. Когда я спросил, почему Советское правительство наградило короля

Михая орденом, он сказал, что, по его мнению, король действовал храбро и разумно во время государственного переворота.

Я затем рассказал ему, как беспокоят людей намерения русских. Я провел линию от Нордкапа до Албании и перечислил столицы восточнее этой линии, оказавшиеся в руках русских. Создавалось впечатление, что Россия движется на запад. Сталин сказал, что у него нет такого намерения. Напротив, он отводит войска с запада. В ближайшие четыре месяца будет демобилизовано и отправлено на родину 2 миллиона человек. Дальнейшая демобилизация будет зависеть лишь от транспортных возможностей.

Я выразил надежду, что до окончания конференции мы сможем договориться о границах всех европейских стран, а также о доступе России к морям и о разделе германского флота. Три державы, которые соберутся за столом конференции, – это сильнейшие державы, когда-либо существовавшие в мире, и их задача – сохранить всеобщий мир. Хотя поражение Германии радует нас, все же это великая трагедия.

Но немцы похожи на стадо овец. Сталин снова вспомнил о своем пребывании в Германии в 1907 году, как 200 немцев не попали на собрание коммунистов, потому что на железнодорожном вокзале некому было проверить их билеты. Затем он извинился за то, что официально не поблагодарил Англию за помощь в снабжении во время войны. Россия приносит благодарность за это.

В ответ на мои вопросы он разъяснил систему труда в совхозах и колхозах. Мы согласились, что и в России и в Англии нет угрозы безработицы. Он сказал, что Россия готова обсудить вопрос о торговле с Англией. Я заявил, что самой лучшей рекламой для Советской России за границей было бы счастье и благосостояние ее народа. Сталин говорил о преемственности советской политики. Если с ним что-нибудь случится, то имеются хорошие люди, готовые стать на его место. Он думал на тридцать лет вперед.

* * *

17 июля пришло известие, потрясшее весь мир. Днем ко мне заехал Стимсон и положил передо мной клочок бумаги, на котором было написано: «Младенцы благополучно родились». Я понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее. «Это значит, – сказал Стимсон. – что опыт в пустыне Нью-Мексико удался. Атомная бомба создана». Хотя мы следили за этими

страшными исследованиями на основании всех тех отрывочных и скудных сведений, которые нам давали, нам заранее не сообщили или, во всяком случае, я не знал даты окончательных испытаний. Ни один ученый, обладающий чувством ответственности, не мог бы предсказать, что произойдет при первом атомном взрыве большого масштаба. Были ли эти бомбы бесполезными или они оказались всесокрушающими? Теперь нам это было известно. «Младенцы благополучно родились». Никто еще не мог определить ближайших военных последствий этого открытия, и никто еще не осознал его значения.

На следующее утро самолет доставил полное описание этого грандиозного события в человеческой истории. Стимсон привез мне этот доклад. Я рассказываю все по памяти. Бомба, или нечто схожее с ней, была взорвана на вершине вышки в сто футов. Всех людей в радиусе десяти миль удалили от нее, а ученые со своими помощниками укрылись в мощных бетонных убежищах приблизительно на таком же расстоянии. Взрыв был ужасающим. Колоссальный столб пламени и дыма вознесся к внешним пределам атмосферы нашей бедной планеты. В радиусе одной мили было абсолютно все разрушено. Так, значит, вот что даст возможность быстро закончить Вторую мировую войну, а пожалуй, и многое другое.

В связи с этим президент пригласил меня безотлагательно побеседовать с ним. При нем находились генерал Маршалл и адмирал Лэги. До сих пор мы мыслили себе наступление на территории собственно Японии при помощи массовых воздушных бомбардировок и вторжения огромных армий. Мы предвидели отчаянное сопротивление японцев, сражающихся насмерть с самоотверженностью самураев не только на поле боя, но и в каждом окопе, в каждом укрытии.

Перед моим мысленным взором вставал остров Окинава, где много тысяч японцев, вместо того чтобы капитулировать, стали в строй и уничтожили себя ручными гранатами после того, как их командиры торжественно совершили обряд харакири. Для того чтобы подавить сопротивление японцев и завоевать их страну метр за метром, нужно было бы пожертвовать миллионом жизней американцев и половиной этого числа жизней англичан или больше, если мы сможем доставить их туда, ибо мы твердо решили также участвовать в этом испытании. Сейчас вся эта кошмарная перспектива исчезла. Вместо нее рисовалась прекрасная, казалось тогда, картина окончания всей войны одним или двумя сильными ударами. Я сразу же подумал о том, что японский народ, храбростью которого я всегда восхищался, сможет усмотреть в появлении этого почти сверхъестественного

оружия оправдание, которое спасет его честь и освободит его от обязательства погибнуть до последнего солдата.

Кроме того, нам не нужны будут русские. Окончание войны с Японией больше не зависело от участия их многочисленных армий в окончательных и, возможно, затяжных боях. Нам не нужно было просить у них одолжений. Через несколько дней я сообщил Идену: «Совершенно ясно, что Соединенные Штаты в настоящее время не желают участия русских в войне против Японии». Поэтому всю совокупность европейских проблем можно было рассматривать независимо и на основании широких принципов Организации Объединенных Наций. Внезапно у нас появилась возможность милосердного прекращения бойни на Востоке и гораздо более отрадные перспективы в Европе. Я не сомневался, что такие же мысли рождались и в голове у моих американских друзей. Во всяком случае, не возникало даже и речи о том, следует ли применить атомную бомбу. Возможность предотвратить гигантскую затяжную бойню, закончить войну, даровать всем мир, залечить раны измученных народов, продемонстрировав подавляющую мощь ценой нескольких взрывов, после всех наших трудов и опасностей казалось чудом избавления.

Принципиальное согласие англичан использовать это оружие было дано 4 июля – до того как состоялось испытание. Окончательное решение теперь должен был принять президент Трумэн, в руках которого находилось это оружие. Но я ни минуты не сомневался, каким будет это решение, и с тех пор я никогда не сомневался, что он был прав. Исторический факт таков – и о нем следует судить в исторической перспективе, – что решение об использовании атомной бомбы для того, чтобы вынудить Японию капитулировать, никогда даже не ставилось под сомнение. Между нами было единодушное, автоматическое, безусловное согласие, и я также никогда не слыхал ни малейшего предположения, что нам следовало бы поступить иначе.

* * *

Сложнее был вопрос о том, что сказать Сталину. Президент и я больше не считали, что нам нужна его помощь для победы над Японией. В Тегеране и Ялте он дал слово, что Советская Россия атакует Японию, как только германская армия будет побеждена, и для выполнения этого обещания уже с начала мая началась непрерывная переброска русских войск на Дальний Восток по Транссибирской железной дороге. Мы считали, что эти войска

едва ли понадобятся и поэтому теперь у Сталина нет того козыря против американцев, которым он так успешно пользовался на переговорах в Ялте.

Но все же он был замечательным союзником в войне против Гитлера, и мы оба считали, что его нужно информировать о новом великом факте, который сейчас определял положение, не излагая ему подробностей. Как сообщить ему эту весть? Сделать ли это письменно или устно? Сделать ли это на официальном или специальном заседании, или в ходе наших повседневных совещаний, или же после одного из таких совещаний? Президент решил выбрать последнюю возможность. «Я думаю, – сказал он, – что мне следует просто сказать ему после одного из наших заседаний, что у нас есть совершенно новый тип бомбы, нечто совсем из ряда вон выходящее, способное, по нашему мнению, оказать решающее воздействие на волю японцев продолжать войну». Я согласился с этим планом.

24 июля, после окончания пленарного заседания, когда мы все поднялись со своих мест и стояли вокруг стола по два и по три человека, я увидел, как президент подошел к Сталину и они начали разговаривать одни при участии только своих переводчиков. Я стоял ярдах в пяти от них и внимательно наблюдал эту важнейшую беседу. Я знал, что собирается сказать президент. Важно было, какое впечатление это произведет на Сталина.

Я сейчас представляю себе всю эту сцену настолько отчетливо, как будто это было только вчера. Казалось, что он был в восторге. Новая бомба! Исключительной силы! И может быть, будет иметь решающее значение для всей войны с Японией! Какая удача! Такое впечатление создалось у меня в тот момент, и я был уверен, что он не представляет всего значения того, о чем ему рассказывали.

Совершенно очевидно, что в его тяжелых трудах и заботах атомной бомбе не было места. Если бы он имел хоть малейшее представление о той революции в международных делах, которая совершалась, то это сразу было бы заметно. Ничто не помешало бы ему сказать: «Благодарю вас за то, что вы сообщили мне о своей новой бомбе. Я, конечно, не обладаю специальными техническими знаниями. Могу ли я направить своего эксперта в области этой ядерной науки для встречи с вашим экспертом завтра утром?» Но на его лице сохранилось веселое и благодушное выражение, и беседа между двумя могущественными деятелями скоро закончилась.

Когда мы ожидали свои машины, я подошел к Трумэну.

«Ну, как сошло?» – спросил я. «Он не задал мне ни одного

вопроса», – ответил президент. Таким образом, я убедился, что в тот момент Сталин не был особо осведомлен о том огромном процессе научных исследований, которым в течение столь длительного времени были заняты США и Англия и на который Соединенные Штаты, идя на героический риск, израсходовали более 400 миллионов фунтов стерлингов.

Таков был конец этой истории, насколько это касалось Потсдамской конференции. Советской делегации больше ничего не сообщали об этом событии, и она сама о нем не упоминала.

* * *

Я не беру на себя никакой ответственности за решения, принятые в Потсдаме, если не считать того, что я здесь изложил. В ходе конференции я мирился с тем, что разногласия, которые нельзя было устранить тут же за столом конференции или на ежедневных совещаниях министров иностранных дел, не разрешались. Таким образом, решение значительного числа проблем, по которым мы были не согласны, было отложено. Я предполагал, в случае если меня выберут, как многие ожидали, дать бой Советскому правительству по этим многочисленным вопросам. Так, например, ни я, ни Иден не согласились бы, чтобы граница проходила по Западной Нейсе.

Было много и других вопросов, по которым нужно было повоевать с Советским правительством, а также с поляками, которые, захватив огромные куски германской территории, совершенно явно стали ярыми советскими марионетками.

В Потсдаме, быть может, можно было исправить положение, но устранение в результате выборов в Великобритании английского национального правительства и мой уход со сцены в то время, когда я еще пользовался большим влиянием и властью, исключили возможность принять удовлетворительное решение.

Аллен Даллес

Хрущев и Карибский кризис (из книги А. Даллеса «Искусство разведки»)

Карибский кризис

Самым опасным этапом конфронтации между США и СССР в послевоенное время стал Карибский кризис. Еще до того, как 22 октября 1962 г. президент Кеннеди обратился к стране с посланием о тайной транспортировке ракет среднего радиуса действия на Кубу, разведывательное сообщество уже располагало сообщениями от агентов и беженцев о сооружении ракетных баз на Кубе. Было хорошо известно, что в течение некоторого времени Кастро (или Советы якобы в интересах Кастро) создавал целую серию баз ракет класса «земля – воздух». Однако дальность действия этих ракет невелика, и предполагалось, что их основное назначение заключалось в том, чтобы обеспечить оборону от возможных налетов авиации. Поскольку сообщения поступали преимущественно от лиц, плохо разбирающихся в ракетной технике, на их основе невозможно было сделать окончательный вывод, все ли ракеты, о которых они говорят, ракеты малого радиуса действия или же здесь присутствует нечто более зловещее.

Собранных сведений, однако, было достаточно, чтобы разведывательное сообщество США приняло решение о проведении более серьезного научного и точного анализа происходящих событий. Были возобновлены разведывательные полеты и получены конкретные данные, которые легли в основу послания президента стране и его мер по блокаде Кубы. Потребовалось, конечно, произвести не только самый тщательный разведывательный анализ, но и незамедлительно дать разведывательные оценки. Как заявил президент, воздушная разведка установила, вне всяких сомнений, что на территории Кубы сооружается нечто большее, чем объекты противовоздушной обороны. Между прочим, это был случай, когда, безусловно, следовало придать гласности выводы разведки. Последующие заявления и действия Хрущева подтвердили точность этих выводов.

Нельзя думать, что реакция коммунистического лидера и его действия будут такими же, как действия наших политиков, или что он всегда правильно оценит нашу реакцию. В октябре 1962 года Хрущев, по-видимому, считал, что ему удастся незаметно доставить ракеты на Кубу, установить и замаскировать их, а затем в подходящий, по его мнению, момент поставить Соединенные Штаты перед свершившимся фактом, с которым мы примиримся, чтобы избежать возникновения войны. Безусловно, он допустил просчет. Но ведь и в нашей стране кое-кто ошибался, полагая, что

Хрущев не предпримет попытки установить наступательное оружие Кубе прямо под нашим носом.

Вопросу о роли разведки на начальном этапе кубинского кризиса в октябре 1962 года был посвящен публичный доклад подкомиссии сенатской комиссии по вооруженным силам, представителем которой был сенатор Джон Стеннис (от Миссисипи). Основной вывод подкомиссии состоял в следующем: «Ошибочные суждения и склонность представителей разведывательного сообщества считать, что установка стратегических ракет на Кубе противоречит политике Советов, привели к принятию таких разведывательных оценок, которые, как впоследствии выяснилось, были неверными».

Эти критические замечания в адрес разведки относятся к сентябрю – началу октября, когда еще не были получены необходимые материалы аэрофотосъемки. В то время некоторые разведывательные оценки в общем сводились к тому, что Советы вряд ли станут устанавливать на Кубе ракеты среднего радиуса действия, то есть такие ракеты, которые могут поразить глубинные районы Соединенных Штатов. Однако многие считали, что Хрущев не станет рисковать, принимая меры, непосредственно угрожающие Соединенным Штатам, меры, от которых, как показали последующие события, он готов был тут же отказаться, столкнувшись с сильным противодействием со стороны США.

Если некоторые наши работники, составлявшие оценки, ошиблись в случае с Кубой, то Хрущев и его советники допустили еще более серьезный просчет. Они явно полагали, что смогут осуществить этот грубый маневр, не натолкнувшись на решительное противодействие со стороны США.

Уход Хрущева с Парижской конференции в верхах в 1960 году, внезапное возобновление ядерных испытаний именно в тот момент, когда в Белграде в 1961 году собрались представители неприсоединившихся государств, и даже знаменитый случай, когда он стучал по столу ботинком, – все это было разыграно, с тем чтобы вызвать потрясение, которое способствовало бы достижению желательных для него результатов. Возможно, он рассчитывал, что такие же последствия будет иметь попытка установки ракет на Кубе.

* * *

В свое время была осуществлена сенсационная, широко известная сейчас секретная операция, которая казалась кое-кому

в США «незаконной». Речь идет о полетах самолета У-2. Простым гражданам многое известно о шпионаже в том виде, в каком он проводился с незапамятных времен. Незаконный переход через границы других стран агентов с фальшивыми документами и под чужим именем – этот прием настолько часто применялся Советами против нас, что мы привыкли к нему. Однако посылка разведчика с фотоаппаратурой в воздушное пространство другой страны на высоту более 10 миль, так чтобы его не было видно и слышно, шокировала многих, поскольку была делом необычным. Но таковы уж странности международного права – мы ничего не можем поделать, когда советские корабли подходят на расстояние 3 миль к нашим берегам и с них фотографируется все что угодно. По моему мнению, мы, если захотим, можем действовать так же.

Если шпион проникает на вашу территорию, вы ловите его, если можете, и наказываете в соответствии со своими законами. Так поступают независимо от того, какими средствами агент пользовался для достижения своих целей – железной дорогой, автомобилем, самолетом или, как говорили мои предки, передвигался на своих двоих. Шпионаж ни в коей мере не может стать «законным». Если нарушается сухопутная граница, территориальные воды или воздушное пространство другой страны – это незаконный акт. Конечно, государству нелегко отрицать свою причастность, когда в качестве средства проникновения используется самолет новейшей и весьма совершенной конструкции, обладающий высокими техническими характеристиками.

Решение об использовании самолета У-2 было принято на основе соображений, которые, как полагали в 1955 году, имели жизненно важное значение для обеспечения нашей национальной безопасности. Нам требовалась информация, которая помогла бы дать нужное направление ряду наших военных программ, и в частности ракетостроению. Не имея сведений о советской ракетной программе, мы не могли этого сделать. Не располагая достаточно серьезной базой для определения характера и масштабов возможного внезапного ракетно-ядерного удара, мы могли поставить под угрозу само наше существование. Право на самосохранение – это неотъемлемое право любого суверенного государства.

* * *

Говоря о мифах и ложных представлениях, я хотел бы

опровергнуть еще один миф, связанный с У-2. Говорили, будто Хрущев был поражен, узнав о полетах. В действительности он знал о них на протяжении ряда лет, хотя в самом начале его информация во всех отношениях была неточной. Задолго до 1 мая 1960 г., дня, когда был сбит У-2, по этому вопросу имел место обмен дипломатическими нотами, которые публиковались. Не имея возможности что-либо предпринять против этих полетов и не желая показывать собственному народу свое бессилие, Хрущев перестал посылать протесты.

Гнев Хрущева на Парижском совещании был неискренним и преследовал определенную цель. В то время он не видел возможности добиться успеха на конференции по берлинскому вопросу. Это было время серьезных осложнений с китайскими коммунистами. После визита в Соединенные Штаты осенью 1959 года он не сумел договориться с Мао, заехав в Пекин по дороге из США. Кроме того, его беспокоило, что советский народ слишком положительно реагирует на планирующийся визит Эйзенхауэра летом I960 года в СССР. Под влиянием всех этих соображений он решил использовать случай с У-2 для того, чтобы отвлечь внимание общественности от тех промахов, которые были совершены Кремлем во внутренней и внешней политике.

Имеются данные, говорящие о том, что в Президиуме ЦК в течение первых двух недель мая после случая с У-2 и до начала совещания в Париже проходили длительные дискуссии. Видимо, обсуждался вопрос, как поступить: оставить ли случай с У-2 без внимания или же использовать его, чтобы сорвать совещание. Говорят, что Хрущева спрашивали, почему он, находясь в США в 1959 году, то есть более чем за шесть месяцев до того, как был сбит У-2, не упомянул о полетах американских самолетов над СССР. Хрущев будто бы ответил, что не хотел «нарушать» дух Кэмп-Дэвида…

Наконец, чтобы покончить с вопросом об У-2, я должен остановиться еще на одном мифе. Когда 1 мая 1960 г. был сбит самолет Пауэрса, все должны были помалкивать и не делать никаких признаний, поскольку признаваться в шпионаже не следует. Действительно, существует старая, прекрасная для своего времени традиция: ни при каких условиях не признаваться в проведении шпионских операций. Предполагается, что пойманный шпион также будет молчать.

В XX веке так бывает не всегда. Случай с У-2 является примером этому. Очевидно, что о строительстве самолета, его подлинном назначении, об успехах, достигнутых с его помощью за более чем пятилетний срок его эксплуатации, а также о том, кто был инициатором этой операции и контролировал ее

осуществление, должны были знать многие. Учитывая исключительный характер этой операции, большие расходы на ее осуществление и ее сложность, подобное расширение круга осведомленных лиц было неизбежно. Данную операцию невозможно было провести так же, как организацию переброски агента через границу. Безусловно, все эти люди знали бы, что всякие опровержения со стороны президента будут ложными. Рано или поздно это было бы установлено.

Еще более серьезным является вопрос об ответственности руководства страны. Если бы президент заявил, что его подчиненные по собственному усмотрению, не получив санкции свыше, задумали и осуществили такую операцию, как операция с У-2, это было бы равнозначно признанию того, что в правительстве царит безответственность и что президент не контролирует действия своих подчиненных, которые могут существенным образом отразиться на нашей национальной политике. Такую позицию занять было невозможно. Хранить молчание обо всем (мне это представляется неосуществимым) было бы равносильно подобному признанию. Решение главы исполнительной власти взять на себя в случае как с У-2, так и с высадкой в бухте Кочинос ответственность за операцию, запланированную как тайную, но затем раскрытую, по-моему, было правильным. Это было единственно оправданным в той обстановке решением. Конечно, любой подчиненный президенту работник, например директор Центрального разведывательного управления, был бы готов взять на себя всю или часть ответственности в обоих случаях, даже ответственность за безответственные действия, если бы ему предложили это. Нельзя исключать, что кто-то и полагал возможным осуществить нечто подобное. Однако, я думаю, это было бы совершенно бессмысленно.

На грани войны
(Из воспоминаний Роберта Макнамары, министра обороны США в администрации Джона Кеннеди)

Прежде всего рассмотрим и проанализируем суть кубинского «ракетного» кризиса. Сейчас общепризнано, что действия Советского Союза, Кубы и Соединенных Штатов в октябре 1962 года поставили эти три страны на грань войны. Но что не было известно тогда, да и в наши дни окончательно не понято, так это то, в какой опасной близости к ядерной катастрофе оказался весь мир. Между тем ни одна из трех стран не намеревалась идти на подобный риск.

Кризис начался, когда Советский Союз разместил на Кубе ядерные ракеты и бомбардировщики. Очевидно, желая обмануть мир, он сделал это тайно летом и ранней осенью 1962 года. Ядерные ракеты и бомбардировщики были нацелены на города вдоль восточного побережья Америки. Фотографии, сделанные с разведывательного самолета U-2 в воскресенье 14 октября 1962 года, привлекли внимание президента Кеннеди. Он и его военные и гражданские советники по безопасности сразу же пришли к заключению, что действия советской стороны угрожают всему Западу. Поэтому президент Кеннеди отдал распоряжение со среды 24 октября подвергнуть Кубу морской блокаде. Началась подготовка к бомбардировке Кубы и высадке на ее берега морского десанта. План предусматривал 1080 самолетовылетов в первый же день боевых операций. Силы вторжения, дислоцированные в портах на юго-востоке США, насчитывали 180 тысяч человек. Кризис достиг своей кульминации в субботу 27 октября и воскресенье 28 октября. Если бы Хрущев не объявил 28 октября о том, что в понедельник, 29 октября он убирает ракеты с Кубы, то большинство советников Кеннеди предложило бы начать войну.

Для понимания того, что послужило причиной этого кризиса и как предотвращать подобные инциденты в будущем, высокопоставленные советские, кубинские и американские участники тех событий провели пять конференций в течение пяти с лишним лет. Последняя из них состоялась на Кубе, в Гаване, в январе 1992 года и проходила под председательством Фиделя Кастро. По выводам третьей из этих встреч, проведенной в Москве в январе 1989 года, стало ясно, что на решения, принимавшиеся

тремя странами перед кризисом и во время него, воздействовали неверная информация, неправильные оценки и неточные расчеты, искажавшие смысл событий.

Я приведу лишь четыре примера из многих:

1. Перед тем как советские ракеты были доставлены на Кубу летом 1962 года, Советский Союз и Куба были уверены, что Соединенные Штаты собираются напасть на остров для свержения Кастро и его правительства. У нас не было таких намерений;

2. Соединенные Штаты считали, что СССР никогда не решится разместить свои ядерные боеголовки за пределами территории Советского Союза, но он на это пошел. Мы узнали в Москве, что в октябре 1962 года советские ядерные боеголовки уже находились на Кубе и были нацелены на американские города, хотя ЦРУ в то время докладывало: никакого ядерного оружия на острове нет;

3. Советский Союз полагал, что ядерное оружие можно доставить на Кубу тайно и об этом никто не узнает. Более того, СССР был уверен, что Соединенные Штаты не отреагируют и когда о его размещении станет известно. В этом он тоже ошибался;

4. Наконец, все те, кто собирался предложить президенту Кеннеди уничтожить эти ракеты ударами с воздуха, за которыми, по всей вероятности, последовала бы высадка на остров морского десанта, глубоко заблуждались, считая, что СССР не предпримет ответных военных действий. В это самое время ЦРУ сообщило о присутствии на Кубе 10 тысяч советских военнослужащих. Однако на конференции в Москве ее участники узнали, что на самом деле на Кубе находилось 43 тысячи советских военнослужащих, и это помимо 270-тысячной хорошо вооруженной кубинской армии. По словам командующих советскими и кубинскими войсками, обе армии были готовы «стоять насмерть». Кубинские официальные лица оценили число своих возможных потерь в 100 тысяч человек.

Советские руководители, в том числе занимавший долгие годы пост министра иностранных дел Андрей Громыко и бывший посол СССР в Соединенных Штатах Анатолий Добрынин, никак не могли поверить в нашу убежденность в том, что в случае своего катастрофического поражения на Кубе Советский Союз уже не решится на ответные действия в каком-либо другом регионе мира. Скорее всего, результатом этих столкновений стала бы неконтролируемая эскалация военного противостояния.

* * *

В 1962 году, во время кубинского кризиса, некоторые из нас, в частности президент Кеннеди и я, полагали, что Соединенные Штаты столкнулись с большой угрозой. Заседание в Москве подтвердило наши суждения. Но на конференции в Гаване мы узнали, что обе наши страны, равно как и многие другие, недооценивали ту опасность, которую таил в себе этот кризис. Бывший начальник штаба Организации Варшавского Договора генерал Анатолий Грибков сказал нам, что в 1962 году советские вооруженные силы на Кубе располагали не только ядерными боеголовками для ракет средней дальности, но и ядерными бомбами, а также тактическими ядерными боеголовками. Тактические боеголовки предполагалось использовать против сил вторжения США. А в то время, как я уже говорил, ЦРУ сообщало, что на острове нет никаких боеголовок.

В ноябре 1992 года мы узнали еще больше. В статье, опубликованной в российской газете, утверждалось, что в разгар кризиса в распоряжении советских вооруженных сил на Кубе находилось 162 ядерные боеголовки, включая, по крайней мере, 90 тактических. Кроме того, было отмечено, что 26 октября 1962 года, в момент наивысшей напряженности в отношениях между нашими странами, боеголовки в ожидании вторжения США доставили из мест хранения в места развертывания средств доставки. На следующий день советский министр обороны Родион Малиновский получил телеграмму от генерала Иссы Плиева, командующего советскими войсками на Кубе, с информацией об этих действиях. Малиновский передал телеграмму Хрущеву, который вернул ее с резолюцией «Согласен». В результате, понятно, возникла реальная опасность того, что в случае нападения США – а это, как уже говорилось, рекомендовали президенту Кеннеди многие военные и гражданские советники – советские вооруженные силы на Кубе скорее всего предпочли бы применить свое ядерное оружие, которое в противном случае попало бы в руки противника.

Нам не надо строить предположения по поводу того, что произошло бы в данном случае. Мы можем точно представить себе результаты. Хотя подготовленные к вторжению американские вооруженные силы не были оснащены тактическими ядерными средствами – президент и я запретили особым приказом использовать их, – никто не мог поверить в то, что если бы по американским войскам был нанесен ядерный удар, то Соединенные Штаты удержались бы от ответного удара. И чем бы все закончилось? Полной катастрофой. Мы понесли бы на Кубе огромнейшие потери, остров был бы полностью уничтожен, а обмен ядерными ударами, очевидно, продолжился бы далеко за

пределами этого региона.

Вилли Брандт

Переговоры с Брежневым (Из книги «Воспоминания» В. Брандта, канцлера ФРГ в 1969–1974 годах)

Несколько встреч с Брежневым

…Как и многие не столь видные русские, Леонид Брежнев был склонен переоценивать немцев. С одной стороны, это, возможно, было связано с Марксом и Энгельсом, без которых Ленин в какой-то мере остался бы без имени. С другой стороны, – и это было важнее: ведь эти проклятые «фрицы» почти что взяли Москву, хотя они одновременно дрались с англичанами и американцами. Докуда же они дошли бы в следующий раз, если бы у них было американское оружие? А то, что они создали после 1945 года, – это тоже не мелочь!..

Нет сомнения в том, что руководство и народ были рядом, когда речь шла о преодолении тяжелого наследия Второй мировой войны. Брежнев сказал, что поворот к лучшему – не простое, нелегкое дело. Между нашими государствами и нашими народами стоит тяжелое прошлое. Двадцать миллионов человек потерял советский народ в развязанной Гитлером войне. Это прошлое не вычеркнуть из памяти людей. Многим миллионам немцев также пришлось сложить голову в этой войне. Память об этом жива. Может ли советский народ быть уверенным в том, что внешняя политика создаст новые основы взаимоотношений?

Он сказал это во второй половине дня 12 августа 1970 года. В Екатерининском зале Кремля он стоял позади меня, когда я вместе с Алексеем Косыгиным и обоими министрами иностранных дел подписывал Московский договор. Первоначально мое присутствие вообще не предусматривалось. Министр иностранных дел Шеель по инициативе советских партнеров по переговорам позвонил в Норвегию, где я проводил отпуск, и дал понять, что мне нужно приехать. Какая тяжелая дата! Какой весомый договор! Я и так не мог и не хотел уклоняться от бремени, которым этот договор должен стать для многих немцев. Нельзя было объявить несостоятельными итоги гитлеровской войны, но смягчить ее последствия было необходимо как с патриотической точки зрения, так и с точки зрения европейской ответственности. Своим землякам я сказал из Москвы, что договор не угрожает ничему и никому; он должен помочь расчистить путь вперед.

На следующий день – 13 августа – я должен был произнести речь по случаю годовщины возведения берлинской стены, однако мои любезные хозяева нашли отговорку, что с технической точки зрения будет трудно передать запись моего выступления в Бонн. В полной уверенности, что меня подслушивают, я громко и отчетливо разговаривал в здании посольства, дав им таким

образом понять, что, если понадобится, я затребую из Бонна самолет, который доставит пленку с записью моей речи домой. Реакция последовала немедленно. Когда мы направлялись к Кремлевской стене для возложения венка, один высокопоставленный чиновник шепнул мне: «С передачей все будет в порядке». Мне выделили какого-то сутулого министра, который не спускал с меня глаз.

* * *

Первое впечатление, которое произвел на меня во второй половине августовского дня в своем мрачноватом кремлевском кабинете Брежнев, было утомительным. Да и как могло быть иначе, если тебе в течение почти двух часов зачитывают какой-то текст? За первым чтением после моих реплик последовало второе, а отреагировать на «второе выступление» у меня почти не осталось времени, хотя в нашем распоряжении имелось четыре часа. Перед тем как пригласить меня для беседы, Генеральный секретарь неожиданно для нашей стороны явился на церемонию подписания договора. Он пришел также на коктейль, но извинился, что не сможет быть на ужине, так как недавно выписался из больницы.

Пока его не начинало явно мучить ухудшившееся здоровье, коренастый Брежнев казался – если ему не нужно было читать по бумажке – здравствующим и даже непоседливым человеком. Ему доставляло огромное удовольствие слушать и рассказывать анекдоты. Он проявлял любопытство к руководителям других стран. «Вы ведь знакомы с Никсоном. Он действительно хочет мира?» Или в июне 1981 года по пути на аэродром он спросил: «Как мне расценивать Миттерана?» Однажды в Бонне появился человек, который должен был расспросить меня о Джиме Картере. Найти подход к Картеру «московитянам» было еще труднее, чем впоследствии понять Рональда Рейгана.

В репертуаре Брежнева имелись маленькие дешевые трюки: под конец нашей первой беседы в Кремле он вдруг сказал: «Надеюсь, вам известно, что в руководстве вашей партии у вас есть не только друзья». Однако, как ему написали на бумажке, на «Икса» (имелся в виду премьер-министр одной из земель, фамилию которого он не смог правильно произнести), добавил он, я могу положиться. Гибрид партаппарата с секретной службой подчас приносит странные плоды.

Но что меня во время той первой беседы буквально удручало, это его нежелание приводить хотя бы до некоторой степени

серьезные аргументы, и его демонстративные ссылки на Сталина…

Во-первых, Брежнев действительно считал, что я могу поверить официальной, партийно-правительственной версии, согласно которой в Советском Союзе, как ни в какой другой стране мира, 99,99 процента людей устремляются к избирательным урнам, чтобы почти поголовно проголосовать за «кандидатов блока коммунистов и беспартийных».

Даже более тонкий Косыгин, которому я сказал, что чувствую поддержку явного большинства моих сограждан, без всякого смущения ответил, что в Советском Союзе 99 процентов за договор. Тут же он стал иронизировать по поводу социал-демократов, о которых, например, в Скандинавии, никогда нельзя точно знать, входят ли они еще в правительство или уже снова в оппозиции.

Во-вторых, Брежнев с самого начала хотел мне разъяснить, что он не согласен с антисталинскими тезисами Хрущева. Сталин очень много сделал, говорил он, и, в конце концов, под его руководством страна выиграла войну – ему еще воздадут должное. Нет, Леонид Ильич не выдавал себя за реформатора. Но я не смог разглядеть в нем и революционера. Скорее это был консервативно настроенный управляющий огромной державы. Однако я не сомневался, что он был заинтересован в сохранении мира. Не сомневаюсь в этом и сейчас.

То, что Брежнев с большим удовольствием полностью отменил бы обсуждение страдавшего манией уничтожения людей Сталина, явилось одним из отрезвляющих впечатлений, полученных мною в Кремле. Между тем первого человека Советского Союза, каковым с 1964 по 1982 год был Брежнев, превратили в какое-то почти безликое существо. Наряду с кумовством и другими слабостями характера его обвиняют в тяжких политических грехах. Именно поэтому я счел нужным объяснить Михаилу Горбачеву, почему я не желаю в том, что касается серьезности наших совместных усилий, дезавуировать Брежнева. Такие американцы, как Генри Киссинджер, в своих оценках сотрудничества с русскими в прошлом пришли к такому же выводу. В личных беседах Брежнев не казался мне несимпатичным, хотя его избирательное восприятие действительности и связанная, очевидно, не только с этим, зависимость от шпаргалок производили немного неприятное впечатление. Но я не имел возможности выбирать себе визави или ждать Горбачева. Я и в 1970 году уже не думал, что меня примет гигант мысли или величина в смысле морали.

* * *

Официально в 1970 году я был гостем не Брежнева, а Косыгина, который как Председатель Совета Министров в тогдашней иерархии имел такой же ранг, как и Генеральный секретарь партии. Год спустя это изменилось, поскольку Генеральный секретарь стал и в вопросах внешней политики номером один. Сделав министра иностранных дел Андрея Громыко членом Политбюро, он крепче привязал его к себе…

Больше говорить в Москве о договоре не имело смысла. Косыгин, этот образованный ленинградский инженер с выражением легкого разочарования на лице, который много, но не очень успешно работал, говорил о «политическом акте, которому советское руководство и весь мир придают большое значение». Я возразил, что текст, конечно, важен, но гораздо важнее то, что из него получится. Косыгин намек понял. Утром после подписания и неизбежного официального обеда он сказал: «Лучше меньше шума, а больше успехов». Я заверил, что для меня содержимое бутылки важнее, чем ее этикетка. Он дал свой вариант темы, имея в виду намечавшуюся конференцию по безопасности в Европе: «Продолжительность заседания еще не признак того, что на нем достигнут прогресс». Впрочем, война больше не является средством политики, а центральная проблема разрядки в Европе заключается в отношениях между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германии.

В своей речи на обеде Косыгин говорил о «памятном дне» в отношениях между нашими странами. Договор «продиктован самой жизнью», он отвечает долговременным интересам мира. В ответном слове я сказал: «Мне известно, что я нахожусь в стране, у которой особое понимание истории, – истории, которую никто не может отменить и никто не вправе отрицать. Так же верно и то, что ни один народ не может постоянно жить без чувства гордости: «История не должна превратиться в хомут, который будет постоянно удерживать нас в прошлом». В некотором отношении я рассматриваю этот договор как заключительную черту и как новое начало, позволяющее обоим нашим государствам направить свои взоры вперед, в лучшее будущее. Этот договор должен освободить как вас, так и нас от тени и груза прошлого и как вам, так и нам дать шанс начать все сначала». (К имевшим принципиальное значение итогам переговоров о заключении договора относилось то, что в области отношений между Советским Союзом и Федеративной Республикой исчезла ссылка на статью Устава ООН о враждебных государствах.)

* * *

Путь к заключению договора, если считать исходным пунктом формирование нового федерального правительства, был короток. Предварительные переговоры в Москве я поручил вести моему испытанному сотруднику Эгону Бару, ставшему статс-секретарем в ведомстве канцлера. Из-за этого посол почувствовал себя ущемленным. В остальном также существовали как доброжелатели, так и завистники, которые точно знали, каким образом все можно было сделать гораздо лучше, не попадая в цейтнот, как это якобы случилось с нами. В действительности шла борьба за каждую статью договора, оттачивалась каждая формулировка. Громыко, которого я посетил незадолго до его отставки с поста президента (он занял его в начале эры Горбачева), даже восемнадцать лет спустя мог точно вспомнить каждый из тех 55 часов, которые у него в феврале, марте и мае 1970 года заняли беседы с Баром. В своих мемуарах Андрей Громыко воздвиг мне небольшой памятник и подчеркнул большую роль, которую я «лично» сыграл при разработке договора.

В Бонне результаты переговоров Бара получили одобрение, а ведение заключительных переговоров взял на себя министр иностранных дел. Они привели к некоторым изменениям, которые должны были дополнительно защитить договор и относящиеся к нему документы как от вечно сомневающихся, так и от серьезных критиков.

В Москве, в нескольких километрах от аэродрома, на котором я приземлился 11 августа 1970 года с опозданием, так как перед вылетом неизвестный сообщил, что в самолете спрятана бомба (поэтому после приземления я сказал: «Мы прилетели поздно, но все же прилетели»), стоит памятник, обозначающий место, где в 1941 году немецкие танки вынуждены были повернуть назад. Однако травма от смертельной угрозы имела более глубокие корни. По пути с аэродрома в резиденцию Косыгин остановил машину на Ленинских горах и подвел меня к тому месту, с которого Наполеон бросил последний взгляд на горящую Москву. Это был еще один эпизод разбуженной истории.

С чем я был не согласен с Брежневым, так это с его воспоминаниями о дне нападения на Советский Союз в июне 1941 года. Ведь между русскими и немцами, говорил он, существовали договор и хорошие экономические отношения. Он сам видел, как к западной границе шел нагруженный пшеницей товарный поезд, когда «люфтваффе» начала бомбежку. Как секретарь Днепропетровского обкома партии он в первый же день войны

получил задание остановить поезда, направлявшиеся в Германию.

Об этом он хотел напомнить только для того, чтобы показать, какие положительные чувства испытывал советский народ и как доверчиво было руководство. Газеты были полны фотографий о сотрудничестве с немцами. Он также сослался на хорошее сотрудничество с немецкими фирмами в далекие времена и в период между мировыми войнами. Немало его коллег обучались на таких фирмах, как Крупп и Маннесманн. И вдруг такое вероломство, которое просто трудно было ожидать от порядочного партнера!

Затем последовали фронтовые воспоминания с мелодраматическими призывами к «товарищам с той стороны». Такой способ пробуждения сентиментальных чувств не столько удивил меня, сколько испугал. Когда люди обмениваются воспоминаниями о войне, фальшь и правда находятся всегда рядом. Весной 1973 года во время ужина, который я дал в честь Брежнева в его боннской резиденции на Венусберге, Гельмут Шмидт обрисовал двойственные чувства молодого офицера на Восточном фронте. Тогда он не мог себе представить, что после этой ужасной войны появится хоть какой-то шанс на то, что первый по статусу человек Советского Союза будет разговаривать с немцами. Брежнев ответил очень эмоциональным тостом. У принимавших меня русских точно так же накатывались слезы, когда я во время застольной речи зачитал выдержку из письма, которое один не вернувшийся с фронта немецкий солдат после нападения на Советский Союз написал своим родителям.

* * *

Весной 1973 года Брежнев подхватил формулу Никсона о том, что эра конфронтации должна перерасти в эру переговоров. Я мог исходить из этого так же, как и из того, что Генеральный секретарь в июне того же года в одной из своих речей сказал о коммунистах и социал-демократах: не затушевывая ничего принципиального, конкретно рассматривать то, что можно сделать для мира и в интересах народов.

Когда дело касалось военных элементов политики мира, Брежнев всегда выражался довольно неопределенно. Во время нашей первой беседы он, видимо вполне серьезно, заявил буквально следующее: ограничение вооружений не является «кардинальной темой». Советский Союз и он лично выступают за полное разоружение. Он даже намеком не откликнулся на сигнал из Рейкьявика, то есть на разработанные нами в рамках НАТО

представления, включавшие в себя пропорциональное сокращение войск.

В 1971 году в Крыму я тщетно пытался убедить его в необходимости серьезных переговоров о взаимном сокращении войск и вооружений. Причем об уравновешенном сокращении, что означало: глобальное равновесие не должно быть поставлено под вопрос. Однако Брежнев меня не понял, впрочем, так же, как и в 1973 году в Бонне. В Москве ему наверняка никто не говорил о проблеме военного неравновесия в Европе. А также о том, что нужно различать две сферы, по которым впоследствии велись переговоры частично в Хельсинки, а частично во время их продолжения в Вене: с одной стороны, сотрудничество и укрепление доверия, а с другой – сокращение войск.

Я и позднее никогда не замечал, чтобы Брежнев, если речь заходила о конкретных вещах, мог бы потребовать от военного руководства каких-то новых идей. Особенно ясно это проявилось в вопросе о ракетном оружии. Но даже когда я однажды завел разговор о форсировании морских вооружений, меня удивила его радостная реакция: американцы нас намного опередили, «но теперь не так уже намного. Мы теперь каждую неделю «лепим» по одной подводной лодке». При этом он делал движения руками так, как это бывает у детей при «игре в куличики». Характерным для эры Брежнева являлось то, что, несмотря на политическую разрядку, СССР продолжал усиленно вооружаться и постоянно «модернизироваться». Разумеется, НАТО в те годы тоже не становился слабее, а соответствующая американская служба вынуждена была признать, что ее оценка роста оборонного бюджета СССР наполовину преувеличена.

В своем прагматизме в военных делах Брежнев и Хрущев недалеко ушли друг от друга. Последний заявил во время кубинского кризиса: «В Советском Союзе ракеты изготовляются, как сосиски в сосисочном автомате». На приеме по случаю нового, 1960 года он после обильного потребления водки сообщил «по секрету» западным послам: для Франции и Англии готово по 50 ракет, а для Федеративной Республики – 30 пронумерованных экземпляров. Но когда жена французского посла спросила, сколько ракет предназначено для США, жизнерадостный Никита ответил, что это военная тайна.

* * *

В приписываемых Хрущеву воспоминаниях изложена полемика с теми военными руководителями, которые «в речах и

мемуарах пытаются обелить Сталина и вновь поставить «отца народов» на пьедестал». Брежнев, как уже сказано, рассматривал это под другим углом зрения, но общим для них обоих являлась ужасающая идеологическая узость мышления. Кстати, после нескольких лет гласности высший генералитет заявил протест против того, что на него пытаются переложить ответственность за то, в чем он не виноват: не военное, а политическое руководство на Рождество 1979 года выступило за вторжение в Афганистан. Во времена правления Горбачева наконец-то стало возможным, чтобы люди, отвечающие за внешнюю и за военную политику, подвергли критике курс, который в семидесятые и в начале восьмидесятых годов односторонне ориентировался на военное равновесие сил и пропагандистские успехи…

К вопросу о связях Федеративной Республики с Западом Брежнев подходил с реалистических позиций. Никто не собирается, говорил он, отделять нас от союзников, так же как и нет планов, чтобы наши будущие отношения с Советским Союзом развивались за счет отношений с другими странами. Брежнев заявлял это столь радостным тоном, что это могло бы внушить недоверие, если бы я и так его не испытывал: «У нас не было и нет никаких коварных замыслов, и я думаю, что это является важным фактором». Косыгин также подчеркивал, что никто не собирается посредством договора изолировать нас от наших западных союзников: «У нас нет подобных намерений, да они тоже были бы нереалистичны». Против этого нельзя было возразить.

Если абстрагироваться от некоторых мелочей, в Москве в августе 1970 года речь шла о переходе к новому отрезку европейской послевоенной истории. В то же время мне представилась возможность поставить стрелки на путь к урегулированию некоторых практических вопросов. Это в первую очередь относилось к Берлину. Я сообщил, что мы лишь тогда ратифицируем Московский договор, когда четыре державы завершат свои переговоры по Берлину с положительным результатом. Если мы хотим разрядки, Берлин не должен оставаться очагом «холодной войны». Он не должен больше оставаться яблоком раздора, а ему следует придать определенные функции в рамках мирного сотрудничества. Брежнева эта взаимообусловленность раздражала. Не означает ли моя позиция, что США будет предоставлено право вето? Действительно, многое осталось открытым, но возможность использовать берлинский вопрос в качестве рычага для создания помех была ограничена, хотя, к сожалению, и не устранена. Уже в конце октября 1970 года Громыко во время встречи с Шеелем дал с некоторыми

оговорками понять, что с нашей берлинской взаимообусловленностью жить можно. Они встретились в Таунусе накануне выборов в ландтаг земли Гессен.

С другой стороны, мы имели в виду проблему прав человека, которую мы, дабы придать ей более безобидный характер, обозначили как «гуманитарные вопросы». Речь шла о репатриации из Советского Союза людей, являвшихся к началу войны германскими гражданами, а также о конкретных случаях воссоединения семей. Косыгин сказал, что об этом и впредь должны заботиться оба общества Красного Креста, хотя до сих пор они добились весьма скромных успехов. Я смог оказать им кое-какую помощь, в том числе и после того как отошел от правительственных дел. После 1970 года многие лица немецкого происхождения смогли переселиться в ФРГ, а в конце концов даже вновь наметилось улучшение условий жизни и культурного развития для советских граждан немецкой национальности.

Не хвалясь, я все же должен сказать, что за эти годы я в целом ряде случаев принимал участие в судьбе так называемых диссидентов. Результаты моих ходатайств были скромными; в нескольких случаях представители интеллигенции уехали за границу, хотя они с большей охотой остались бы на родине, в других – им были созданы лучшие условия жизни в самой стране.

В-третьих, речь, конечно, шла и об экономических интересах. Я прежде всего хотел выяснить у русских, не собираются ли они в дополнение ко всем тяжелым последствиям войны потребовать от нас еще и выплаты репараций? Для ответа Брежневу нужно было время. На следующий год в Крыму он мне коротко сообщил: этот вопрос в Советском Союзе не стоит. Толковые комментаторы могли бы проследить в этом единственную в какой-то мере существенную параллель с Рапалло.

Брежнев и Косыгин говорили о «больших и даже огромных перспективах» в области экономики, науки и техники; прежде всего нам расхваливали сотрудничество в области добычи полезных ископаемых Сибири. Это всегда было и остается постоянной темой германо-советских переговоров. Я перелистал старые подшивки и установил, что еще в 1922 году Карл Радек, большевистский эксперт по Германии польского происхождения, погибший в одном из сталинских лагерей, сказал заведующему восточным отделом германского министерства иностранных дел: «Германия может извлечь выгоду из использования русских сырьевых запасов. Немецкая работа найдет теперь в России поддержку».

В последующие годы строительство воздушных замков продолжалось. Косыгин не был склонен к преувеличениям: «Ни

мы, ни вы не являемся благотворительными организациями, сотрудничество должно приносить пользу обеим сторонам». Ему тоже было известно, что заинтересованные в сотрудничестве немецкие фирмы откровенно жалуются на неповоротливость и частую пробуксовку советских органов управления народным хозяйством. Тем не менее торговля с Советским Союзом после этого по сравнению с исходным уровнем развивалась вполне успешно.

* * *

Для возглавляемого мной правительства Московский договор имел принципиальное и жизненно важное значение. Не только для нас в Бонне, но и с точки зрения европейской политики представлялось очень важным, что из заявлений мировой державы, так же как и из политзанятий в Советских Вооруженных Силах, исчез призрак германской угрозы, а тем самым из «межкоммунистической колоды» была изъята антигерманская карта.

В середине сентября 1970 года я заявил в бундестаге:

«Федеральное правительство убеждено, что настало время заново обосновать и в пределах возможного нормализовать наши отношения с Советским Союзом и с Восточной Европой. Заключая данный договор, федеральное правительство придерживалось того, что оно отразило в своем правительственном заявлении». Этим договором мы никому ничего не дарим. Он исходит из существующего реального положения вещей. Им устанавливается неприкосновенность границ и мирное урегулирование всех имеющихся вопросов. «Главное в этом договоре то, что он служит миру и обращен в будущее. Он создает предпосылки для лучшего сотрудничества с Советским Союзом и с нашими прямыми восточными соседями. Он не отделяет нас от наших союзников по НАТО и не мешает прогрессирующему единению Западной Европы. Он должен пойти на пользу Берлину. И, в конце концов, он оставляет свободным путь к достижению в Европе такого состояния мира, при котором и германские вопросы могут найти справедливое и прочное решение на основе права на самоопределение».

На следующий, 1971 год во время летних каникул я получил запрос: не хотел бы я в середине сентября посетить в течение нескольких дней Брежнева в Крыму – без «протокола» и без «делегации». Советский руководитель отнесся к отказу от протокола настолько серьезно, что, когда я 16 сентября во второй

половине дня приземлился в Симферополе, он стоял на летном поле в полном одиночестве. Я прилетел на самолете военно-воздушных сил ФРГ. Это также было новшеством. Об экипаже позаботились самым наилучшим образом, что отнюдь не было само собой разумеющимся.

В здании аэропорта был устроен прием. Он очень затянулся. Казалось, что наш запас анекдотов никогда не иссякнет. В соответствии с этим и атмосфера была непринужденной. Если по программе предусматривалось испытать меня в буквальном смысле слова на выносливость, то этот экзамен я выдержал.

Теперь Брежнев совершенно однозначно был первым лицом и находился в лучшей форме, чем за год до этого, когда мне довелось его увидеть в Москве, а затем в 1973 году в Бонне. Как у чванливого, так и у официального Бонна, действующие лица которого дополняли друг друга и были тесно переплетены между собой, возникло ощущение, что им брошен серьезный вызов: может быть, происходящее в Крыму не имеет ничего общего с правительственными делами, а является «всего лишь» встречей руководителей партии? «Не секретная ли это встреча?» – вопрошал Франц Йозеф Штраус. Титул советского Генерального секретаря и его ранг по протоколу причиняли и в дальнейшем немало хлопот. Хотя в Париже его принимали со всеми почестями, полагающимися главе государства, ответственные за прием высоких гостей боннские бюрократы были против того, чтобы при его встрече производился обязательный в таких случаях артиллерийский салют. А у меня не было никакого желания с ними связываться.

Что же собой представляла Ореанда, где в распоряжении советского руководителя имелась летняя резиденция, в которой он принимал гостей из дальних и ближних стран? Не находилась ли она поблизости от той Ялты (а может быть, даже была ее предместьем?), где в начале 1945 года Сталин вместе с Рузвельтом и Черчиллем принял решения, воспринятые так, будто там раз и навсегда был утвержден раскол Европы, что соответствует не столь уж необычному историческому ракурсу? Впрочем, что касается мест, связанных с тяжкими событиями, то куда бы мы могли податься в Германии после 1945 года, если бы хотели, чтобы другие – да и мы сами – избежали крайне неприятных воспоминаний?

Поднимались и другие, второстепенные вопросы. Почему для Ореанды не было предусмотрено «официальное» сопровождение прессы? То, что многочисленные журналисты и фотокорреспонденты без всяких затруднений попали на место событий, почти не смягчило критику. Затем фотографы

запечатлели меня не только во время лодочной прогулки по Черному морю в спортивном костюме – без галстука, но и тот момент, когда я вместе с Брежневым вхожу в воду, чтобы поплавать. Не было ли это в высшей степени безответственным?

А была ли у меня там возможность воспользоваться советами компетентных людей из министерства иностранных дел? Ну кроме Эгона Бара, статс-секретаря ведомства канцлера, меня сопровождал сведущий сотрудник министерства иностранных дел, впоследствии дважды работавший послом в Москве. Само собой разумеется, что при мне находился переводчик. Он делал соответствующие записи.

* * *

По возвращении я сообщил представителям оппозиции, хотя это был всего лишь второстепенный момент, о следующем: Брежнев спросил меня о коммунистах в ФРГ, и я подтвердил, что они действуют легально. Это вызвало огромное возбуждение. Советский руководитель проявил любознательность по поводу того, каким образом действует «партия господина Бахмана». Он имел в виду ГКП, которая возникла в 1968 году по формальному совету министра юстиции Хайнеманна. Федеральный конституционный суд в 1956 году по представлению федерального правительства запретил старую ГКП.

Казалось, что Брежнев хочет уйти от надоевшей ему темы. А ведь за год до этого во время моего визита в Москву нам настойчиво приводили такие аргументы: «У вас свободно развиваются силы реваншизма, – говорил Косыгин, – в то время как коммунистов загоняют в подполье». В Ореанде я лишь подтвердил, что ГКП действует активно и легально. По отношению ко мне она ведет себя далеко не дружелюбно, но другого я и не жду и всегда возражаю тем, кто добивается нового ее запрета. Из этого сделали вывод, будто бы я выразил свою благосклонность по отношению к коммунистической партии. Герхард Шредер, мой предшественник на посту министра иностранных дел, летом 1988 года заявил, что ему якобы известно, что во время той сомнительной лодочной прогулки я подтвердил в разговоре с Брежневым «конституционный характер» ГКП. Это было неверно в отношении как места, так и существа вопроса. Также неверен был и вывод, что «с тех пор у нас есть ГКП».

Более серьезной, чем мелкотравчатая полемика в собственной стране, была буря в стакане парижской воды. Во

французской столице нашлись люди, пытавшиеся внушить президенту Помпиду, что перед визитом Брежнева во Францию я «втиснулся» в его календарный план и, возможно, заключил с ним тайные договоренности. Конечно, это можно было легко опровергнуть, но, тем не менее, это напомнило о том, что каждый раз, когда Германия и Россия обсуждают общие вопросы, Франция следит за этим со скрытым подозрением. Впрочем, я не видел ничего плохого в том, что советский руководитель, когда речь идет о Европе, интересуется и мнением немцев. Развитие в Европе, говорил Брежнев, будет в значительной мере зависеть от того, как будут складываться отношения между Советским Союзом и Федеративной Республикой, с одной стороны, и с Францией, с другой стороны. Это было не так уж неверно.

Помпиду, принимавший Брежнева в начале декабря 1971 года в Париже, вряд ли возражал, услышав от своего гостя, что тот больше доверяет федеральному канцлеру, чем Германии. Мог ли я отвечать за то, что в Париже, как и в Москве и в других местах, все еще проводилось такое различие?

* * *

В Ореанде мы с Брежневым не раз часами беседовали друг с другом. Прежде всего о двусторонних отношениях и возможности общеевропейского сотрудничества, а также о Китае. Эту тему предложил я, но ее обсуждение оказалось бесплодным. Большое место, естественно, занимали советско-американские отношения и германский вопрос. На меня произвело впечатление то, как Брежнев после оживленных часов в зале для гостей в аэропорту, когда мы поехали вниз, к Крымскому побережью, затронул германский вопрос и тут же исключил его из дискуссии. Как только машина тронулась, он положил мне руку на колено и сказал: «В том, что касается Германии, Вилли Брандт, я вас хорошо понимаю. Но ответственность за это несем не мы, а Гитлер». А может быть, он даже сказал, что теперь мы ничего не можем изменить?

«Строго между нами», он хотел бы знать, будет ли действительно ратифицирован Московский договор. Неудача может отбросить нас на целые десятилетия. Не осталось незамеченным то, что я открыто говорил о слабом и хрупком большинстве моей коалиции, добавив к этому: «Я связал судьбу моего правительства с политикой договоров, и так оно и будет».

Казалось, что Брежнев старается избежать берлинской темы. Он не понимал, да и не хотел понять, что мы были начеку, чтобы

не допустить еще большего отделения Берлина от Федерации, чем это предусматривалось выторгованным между державами-победительницами особым статусом. За две недели до этого, 3 сентября 1971 года, было подписано новое четырехстороннее соглашение. Его немецкий перевод – западная или восточная редакция? – доставил нам немало неприятностей. Сначала Брежнев об этом ничего не хотел слышать, однако потом он поблагодарил меня за разъяснения, добавив, что эта благодарность его ни к чему не обязывает.

После Ореанды мои противники пытались мне приписать, что я вел с Генеральным секретарем переговоры о достижении единства Германии ценой ее нейтрализации. Это не соответствовало действительности, да и было бы нереально. В бундестаге я снова и снова объяснял, что прогресс на пути к германскому единству возможен лишь по мере общего и кардинального улучшения отношений между Востоком и Западом. После моей отставки в 1974 году мои эксцентричные противники даже распространили слух, что они привлекут меня к ответственности по обвинению в измене родине, если я «буду высовываться». Основание: я говорил с Брежневым о статусе безопасности для Германии, отличающемся от статуса НАТО.

* * *

Визит Брежнева в Бонн в мае 1973 года носил изнурительный характер. Русский был в плохой форме. Он производил впечатление утомленного и рассеянного человека. Создавалось впечатление, что он плохо себя чувствовал в совершенно незнакомой обстановке. Но дело было не только в этом. Ибо мы оба чувствовали, что американо-советские отношения снова ухудшились. За год до этого Никсон подписал в Москве Заявление о принципах взаимоотношений между обеими державами. По существу, это означало признание Советского Союза в качестве равноправной мировой державы. Но оказалось, что надежды президента и его госсекретаря, считавших возможным не допустить русских в страны «третьего мира», являются иллюзией.

Когда Брежнев находился в Бонне, наша политика договоров явно преуспевала: только что бундестаг одобрил договор об основах отношений с ГДР, за него проголосовали даже некоторые депутаты от оппозиции. Решение о вступлении в Организацию Объединенных Наций было принято еще более внушительным большинством голосов – примерно половина оппозиции

высказалась «за». Произошел значительный подъем в торговле с Востоком. Мы подписали Договор о развитии экономического, промышленного и технического сотрудничества сроком на 10 лет. Брежнев затянул старую песню, слова которой я уже знал наизусть: не хотим ли мы участвовать в освоении огромных природных запасов Советского Союза, и прежде всего Сибири? Там нас ожидают не только природный газ и уголь, но и важные руды, а таких богатых запасов леса нет нигде в мире. Конечно, говорил Брежнев, у нас различные системы: «У нас можно приказывать, у вас это иначе. Но, несмотря на это, если руководители дадут соответствующие импульсы, то и деловые люди начнут мыслить другими категориями. Я со своими людьми готов к более дерзким перспективам»…

Коленопреклонение в Варшаве

Еще в 1970 году, но и в более поздние годы меня спрашивали, почему я предпочел заключить договор сначала с Советским Союзом, а не с подвергавшейся неописуемому глумлению Польшей? Это был чисто абстрактный вопрос, в том числе и в понимании польского руководства. Выбора не было – ключ к нормализации лежал в Москве. А кроме того, там находилась не только власть, но и народ, который также претерпел ужасные страдания.

Однако я признаю: поляки – как народ, так и руководство – предпочли бы, чтобы наше заявление о границе по Одеру и Нейсе было сначала запротоколировано в Варшаве; в качестве «подарка от русских» оно имело для них лишь полцены. Разумеется, руководству было известно то, что общественность еще не могла знать: руководимое мной правительство будет готово признать новую польскую границу на договорной основе. Это я дал понять во время избирательной кампании 1969 года, то есть когда еще не было ясно, смогу ли я сформировать новое правительство. В 1970 году я сразу же согласился с польским предложением поставить в Варшавском договоре на первое место вопрос о границе и лишь затем отказ от применения силы.

Когда 7 декабря 1970 года после подписания договора я разговаривал с Владиславом Гомулкой, снова возникла проблема очередности. Польские журналисты подбросили из добрых побуждений идею, чтобы мы предпочли Варшавский Договор Московскому. Гомулка сказал: «Прошу вас не упускать из виду реальности. Любая попытка разорвать союзнические связи Польши, а тем более вбить клин между ней и великим соседом на Востоке обречена на провал. Впрочем, Московский договор был заключен раньше. Их следовало бы ратифицировать одновременно или через короткий промежуток времени».

Разумеется, поляки не хотели, чтобы к ним относились как к довеску ведущей державы. Точно так же им была неприятна мысль о том, что русские и немцы могут упражняться в решении вопроса, который они считали жизненно важным. Поляки не скрывали той горечи, которая наложила свой отпечаток на отношения с Советским Союзом; о том, что Сталин уничтожил их офицерский корпус, что Красная Армия в 1944 году остановилась на Висле и наблюдала, как истекает кровью Варшава, что пришлось смириться с потерей собственных восточных областей, нигде не говорилось открыто, но кое-где на это намекалось. Не в последнюю очередь вследствие этого они очень старались не

отстать от русских. Когда в сентябре 1971 года я встретился в Крыму с Брежневым, мне передали просьбу сделать на обратном пути остановку в Варшаве. Я ответил, что другие обязательства не позволяют мне сделать это. Позднее я часто задавал себе вопрос – и не только в связи с этим случаем – не слишком ли мы становимся рабами собственного графика?

Юзеф Циранкевич, бывший узник Маутхаузена, представитель социал-демократической части ПОРП – объединенной коммунистической партии – и премьер-министр, заявил в начале варшавских переговоров: оба наши правительства должны настроиться на своего рода психоаналитический курс и поначалу выяснить, что у нас не в порядке. Затем последует терапевтическая беседа. Многостороннее сотрудничество может нам помочь, а остальное исцелит время. Накануне подписания договора Гомулка сказал: «Нужно иметь в виду, что процесс сближения продлится как минимум десять лет». Однако и эта перспектива оказалась чересчур оптимистичной.

Первый человек в партии, а де-факто и в государстве в декабре того же года потерпел фиаско. Причиной послужили протесты против недостаточного снабжения. Вышедшие на демонстрации – особенно в Данциге – рабочие вынудили его уйти в отставку. Он был личностью, закаленной в рядах Сопротивления. В начале пятидесятых годов его арестовали как «титоиста». В 1956 году, вопреки воле Хрущева, он стал руководителем партии. Как и все коммунистические вожди, он владел ритуалом длинных речей, заменявших дискуссию. «С глазу на глаз» (не считая двух переводчиков) он произнес двухчасовую речь. Чтобы поддержать свой престиж, мне понадобился по крайней мере час для ответной речи, а потом все пошло по программе.

* * *

Варшавский договор прояснил «основы нормализации отношений» и показал, насколько тонок лед, по которому мы идем. Тем не менее для нас было важно констатировать, что (как и в других «восточных договорах») он не затрагивает заключенные ранее действующие договоры и не ставит под вопрос международные соглашения. Глава польского правительства не преминул упомянуть, что польская сторона сознает, что от имени Федеративной Республики договор подписывает человек, «который сразу же после захвата власти фашистами понял, каким неимоверным несчастьем это обернется

для немецкого народа, для народов Европы, для мира во всем мире».

В ответной речи я сказал: я сознаю, что никакой документ, как бы важен он ни был, не может засыпать насильственно вырытые рвы. По указанию правительств нельзя прийти к взаимопониманию, а тем более к примирению. Они должны созреть в сердцах людей обеих стран. Я рассказал своим партнерам о беседах с генералом де Голлем, в которых шла речь о Германии и Польше. Он и я были едины в том, что народы Европы должны сохранить свою самобытность и именно это открывает перед континентом широкие перспективы. Итак, мне известно, «что изолированных ответов больше нет, есть только общеевропейские. И это также привело меня сюда». А в речи по случаю подписания договора я сказал: «Мое правительство принимает результаты истории. Совесть и понимание привели нас к выводам, не будь которых мы бы сюда не приехали». Однако никто не должен ожидать, что в политическом, юридическом и моральном смысле «я возьму на себя больше, чем это соответствует сознанию и убеждению». Прежде всего «границы должны меньше разделять и причинять меньше боли».

Я привез в Варшаву необычный груз. Нигде народ, люди не вынесли столько страданий, как в Польше. Механизированное уничтожение польского еврейства явилось вершиной кровожадности, которую трудно себе представить. А кто назовет имена евреев из других частей Европы, уничтоженных в одном лишь Освенциме? На пути в Варшаву была память о шести миллионах убитых, память об агонии варшавского гетто, за которой я следил из Стокгольма и которая так же, как несколько месяцев спустя героическое восстание в польской столице, была почти не замечена воевавшими против Гитлера правительствами.

Программой моего пребывания в Варшаве предусматривалось на следующее утро после моего прибытия возложение двух венков. Сначала на могиле Неизвестного солдата. Там я почтил память жертв насилия и предательства. На экраны телевизоров и на страницы газет всего мира попало изображение, показывающее меня стоящим на коленях перед памятником, воздвигнутым в честь погибших жителей еврейской части города. Меня часто спрашивали: с какой целью был сделан этот жест? Был ли он запланирован? Нет, никоим образом. Для моих ближайших сотрудников это явилось не меньшей неожиданностью, чем для стоявших рядом со мной репортеров и фотокорреспондентов, а также для тех, кто остался дома, потому что они не ожидали ничего «нового».

Я ничего не планировал, однако дворец Вилянов, где меня

разместили, покидал с чувством, что следует как-то подчеркнуть особенность церемонии у монумента в бывшем гетто. Перед пропастью немецкой истории и под тяжестью памяти о миллионах убитых я сделал то, что делают люди, когда им не хватает слов.

Даже сейчас, двадцать лет спустя, я не могу это выразить лучше, чем тот корреспондент, который написал: «И вот он становится на колени. Он, для которого нет необходимости делать это за всех, кому это необходимо, но которые не становятся на колени, потому что не осмеливаются или не могут, или не могут осмелиться».

* * *

Дома, в Федеративной Республике, не было недостатка в язвительных, а тем более в глупых вопросах: не «перестарался» ли я с этим жестом? Польская сторона, как мне показалось, чувствовала себя смущенной. В день, когда это случилось, никто из моих хозяев не говорил со мной на эту тему, из чего я сделал вывод, что другие эту часть истории тоже еще не переварили. Карло Шмид, находившийся со мной в Варшаве, позднее рассказывал, что его спрашивали, почему на могиле Неизвестного солдата я возложил только венок, но не встал на колени? На другое утро в машине по пути на аэродром Циранкевич взял меня за руку и сказал, что очень многие были тронуты; его жена вечером звонила в Вену подруге, и обе они горько плакали.

Я рекомендовал министру иностранных дел поручить ведение переговоров о Варшавском договоре статс-секретарю Фердинанду Дуквитцу. Одна из его заслуг состояла в том, что он во время войны, будучи официальным лицом, многое сделал для спасения датских евреев. «Дуки» – это классический пример, как, являясь номинально членом партии, не обязательно было становиться нацистом. После войны он поступил на службу в министерство иностранных дел, досрочно вышел на пенсию, а благодаря мне вновь вернулся к активной деятельности. Сделал я это не в последнюю очередь потому, что у нас были схожие представления о восточной политике. И он, как обнаружилось на переговорах о балансировании платежей, умел находить общий язык с американцами. Вальтер Шеель не продлил приглашение на службу, приписав ему недостаток лояльности. Что же произошло? Перед началом третьего тура переговоров я дал Дуквитцу абсолютно безобидное письмо, которое должно было ему помочь добиться приема у Гомулки, но забыл предупредить об этом

Шееля. В Варшаве один из корреспондентов обратил на это внимание и написал, что главе партии было передано письмо от канцлера. Это сообщение вызвало различные спекуляции на этот счет и обычное для Бонна волнение. Что это были за «секретные контакты»? И что я мог сообщить первому человеку в Варшаве? Я как раз находился в Осло, где мне предстояло обсудить некоторые вопросы, когда мне позвонил взволнованный Шеель. Не сразу удалось его успокоить. Это оставшееся единственным недоразумение и вызвавший его организационный «прокол» удалось уладить по возвращении из Осло.

Чтобы привести к общему знаменателю правовые и политические реальности и политико-психологическую необходимость, пришлось поразмышлять по вопросу о границах. В начале 1970 года в докладе о положении нации я предупреждал: «То, что потеряли наши отцы, мы не обретем вновь ни чудесной риторикой, ни самыми отточенными юридическими ухищрениями». Тем не менее многим в Германии было трудно примириться с изменившимися реальностями нашего мира. В Польше граница по Одеру и Нейсе вообще стала национальным вопросом. Русские еще в 1950 году побудили ГДР признать ее, но этого было недостаточно. Слово Федеративной Республики было для поляков более весомым, хотя общей границы с ней не было. И они бы очень хотели и считали полезным, если бы Федеративная Республика – на случай заключения мирного договора – уже заранее приняла на себя обязательство уважать границу по Одеру и Нейсе. Ко мне по этому поводу не обращались. Я и не мог бы подавить в себе правовые сомнения противоположного рода.

В Потсдаме было записано, что германо-польская граница будет окончательно установлена только в «мирных договорах». Однако американский президент и британский премьер санкционировали в 1945 году выселение немцев и не возражали, когда была зафиксирована новая граница. Де Голль обиделся на них за то, что они его не пригласили в Потсдам, а не за то, что они действовали подобным образом.

Право миллионов немцев на родину сменилось таким же правом переселенных на Запад или родившихся там поляков. Во всем мире не нашлось ни одного правительства, которое было бы готово поддержать германские притязания в вопросе о границах. Прошло довольно много времени, прежде чем ведущие представители западного мира открыто и однозначно указали немцам на то, что им следует примириться с новой линией границы. Аденауэр и его доверенные лица знали положение дел. Но раздавались голоса многочисленных беженцев и изгнанных, особенно громко звучали голоса их профессиональных опекунов.

Социал-демократы лишь позднее решились плыть против течения. В моих ушах все время звучали слова Эрнста Рейтера, сказанные им в год своей смерти: нам нужно пойти навстречу полякам, нельзя требовать от них, чтобы они еще раз создали «государство на колесах». Тем не менее я нашел свою фамилию под документом, заканчивавшимся словами: «Отказ – это предательство». Оставив в стороне слова, должен сказать, что решающим для меня было то, что нельзя проводить восточную политику «за спиной изгнанных». Это означало, что они должны быть посвящены в наши дела и иметь возможность самим решить, что можно, а что нельзя. К этому нас обязывал также огромный вклад изгнанных с родины и бежавших восточных и судетских немцев в дело восстановления. В 1965 году памятная записка евангелической церкви в немалой степени способствовала снятию нервозности в дискуссии по этому вопросу. Католические епископы никак не решались сделать шаг навстречу своим польским собратьям. Тем не менее во второй половине шестидесятых годов дух перемен коснулся и федерального канцлера Кизингера, заговорившего о понимании стремления польского народа «наконец-то жить на собственной территории с гарантированными границами».

* * *

В связи с договором от декабря 1970 года возникли практические вопросы, на которые не удалось найти удовлетворительный ответ. С одной стороны, возможность для «фольксдойче» переселиться в Федеративную Республику или в одно из двух немецких государств. С другой – желание Польши получить материальное возмещение непосредственно или в форме крупного и дешевого государственного кредита. Кроме того, унификация школьных учебников и молодежный обмен, о поощрении которого мы просили, также оказались отнюдь не пустяками.

Польская сторона не захотела отразить в договоре вопросы эмиграции и переселения. Она настаивала на форме односторонней «информации»: «несколько десятков тысяч (нам объяснили, что это означает от 60 до 100 тысяч) лиц бесспорно немецкой национальности» должны были получить разрешение на выезд. Значительно большее количество прибыло в Федеративную Республику еще в пятидесятые годы при содействии национальных обществ Красного Креста. Теперь нужно было опять прибегнуть к помощи Красного Креста,

которому сообщили, что указанное польской стороной число не следует рассматривать как окончательный верхний предел, тем более что число желающих выехать несомненно больше. В перспективе намечались облегчения при поездках для посещения родственников. Не нашло (или почти не нашло) поддержки наше пожелание, чтобы оставшимся в Польше немцам было оказано содействие в развитии культуры, особенно путем преподавания языка.

Однако этим данная глава была далеко не завершена.

Когда было рассмотрено примерно 60 тысяч дел, в Польше началось сильное сопротивление местной и региональной бюрократии. В Германии жонглировали цифрами. Сколько человек в действительности хотели переселиться? Доколе можно было говорить о воссоединении семей? А как быть, если немецкая и польская кровь там смешивалась в течение многих поколений? Нередко это означало: воссоединение на одной стороне, новое расставание – на другой.

В Варшаве Гомулка мне разъяснил: Польша в 1953 году отказалась от репараций, но примерно десять миллионов человек по западногерманским законам о возмещении ущерба имеют право потребовать этого. Исходя из этого, эксперты подсчитали, что сумма составит приблизительно 180 миллиардов марок ФРГ. Не лучше ли нам забыть о таких больших цифрах, а вместо этого договориться о скромном, но важном для Польши кредите сроком на десять лет без процентов или с небольшой процентной ставкой? В принципе я ничего не имел против «косвенного» решения, которое содействовало бы экономическому развитию. Правда, министерство финансов в те годы не соглашалось со снижением государством процентных ставок, хотя в других странах это было обычным явлением. Позднее это стало дороже. Взаимосвязь вещей, строго говоря, не имевших между собой ничего общего (кредит, компенсация имевшим право на пенсию полякам, угнанным во время войны на принудительные работы, и разрешения на выезд), в течение многих лет бросала тень на германо-польские отношения и обходилась Федеративной Республике все дороже; она объявила себя правопреемником германского рейха и практически не могла воспрепятствовать тому, чтобы ей не предъявляли счета.

Я никогда не скрывал, что считаю тяжелое материальное бремя психологической нагрузкой, и не хотел бы подсчитывать, какое влияние это окажет на последующие поколения. В конце концов, не следует забывать, что изгнанные со своей родины немцы потеряли не только землю, но и много ценного имущества.

То, что Польша в течение двух десятилетий, последовавших

за подписанием Варшавского договора, так редко приходила в состояние покоя, больше почти не зависело от ее отношений с немцами. Однако нормализация продвигалась не столь успешно, как этого хотелось. О желающих эмигрировать и разрешениях на выезд велись длительные переговоры и было немало полемики. Никто еще не подозревал, что в Федеративной Республике переселенцев более или менее немецкого происхождения уже далеко не всегда будут встречать с распростертыми объятиями. Верным всегда было и остается то, что отношения между немцами и поляками имеют особое значение для Европы.

«Пражская весна»

А как с Чехословакией? За эти годы меня нередко спрашивали, почему нормализация этих отношений затянулась еще на три года до конца 1973 года, а Пражский договор вступил в силу только летом 1974 года. За это время мы, как и ГДР, стали членами ООН, а в Хельсинки собрались министры иностранных дел Востока и Запада, чтобы подготовить общеевропейскую конференцию. Разве я или кто-то другой забыли, что требовали от Чехословацкой Республики еще накануне Второй мировой войны и какие страдания пришлось претерпеть там людям во время нацистской оккупации? Конечно, нет. Правовые или псевдоправовые споры вокруг Мюнхенского соглашения действительно заняли много времени. Но эта по существу верная ссылка была лишь полуправдой. Ибо политика Праги в значительной степени была парализована последствиями августовских событий 1968 года, которые наложили свой отпечаток на то, что происходило во время моего визита в Прагу в декабре 1973 года.

Казалось, что холодная погода выражает настроение присутствующих. Тем не менее я внимательно слушал принимавших меня чехословацких руководителей, когда они говорили о страданиях и о надеждах своего народа, а премьер-министр Любомир Штроугал, державшийся не так натянуто, как большинство его коллег по руководству (он занимал этот пост до 1988 года), вспоминал о «терновом венце Лидице», когда уже отмеченный печатью скорой смерти генерал Свобода, бывший в 1968 году главой государства, очень дружелюбно призывал к «добрососедству», а Густав Гусак, руководитель партии, вскоре ставший и президентом страны, согласился выполнить мою просьбу о помиловании нескольких находившихся в заключении немцев. Посмотрим, пообещал он, что тут можно сделать.

В конце концов он-то хорошо знал, что такое тюрьма.

Он сидел там и тогда, когда его партия была у власти. По нему было видно, что он очень хотел бы оказаться в такой же роли, какая в тяжелые годы после 1956 года выпала на долю Яноша Кадара. Но то, что – по крайней мере частично – удалось на Дунае, никак не получалось на Влтаве. Гусак и его группа потерпели фиаско – главным образом из-за того, что они не смогли преодолеть недоверие своих сограждан.

В своей пражской речи я вспомнил о своем приезде в этот город зимой 1936/37 и летом 1947 года, о той роли, которую играла Прага в жизни немецкой эмиграции, о важных отрезках

нашей общей истории – сообществе немцев и славян в богемских землях, трагедии гитлеровской оккупации, другой трагедии, трагедии поголовного изгнания, о которой я написал одним из первых.

* * *

«Пражская весна» 1968 года очаровала и меня. Внутренне я тоже не был готов к тому, что ответом на борьбу коммунистов-реформаторов станет вторжение войск стран Варшавского Договора. Все утверждения, что оно было вызвано западногерманским вмешательством или даже военными приготовлениями на нашей территории, были взяты с потолка. Однако нам это приписывали не только на Востоке, кое-где этому верили и на Западе. Когда я вскоре после того злосчастного 21 августа прибыл в Париж, Мишель Дебре, сменивший Кув де Мюрвиля на посту министра иностранных дел, вполне серьезно упрекнул меня в том, что якобы наша активность вредит делу. Французская разведка снабдила его сногсшибательной информацией. Такое случается. Французский министр иностранных дел был прав, предупреждая НАТО об опасности бессмысленного реагирования. Но он явно недооценил значение случившегося, назвав новую пражскую трагедию «дорожным происшествием на пути к разрядке». Заодно с ним был даже де Голль, который упрекнул Кизингера в том, что федеральное правительство вдохновляло пражских реформаторов и, следовательно, несет часть вины за случившуюся трагедию. А в качестве, так сказать, конфиденциального приложения добавил: Брежнев перед этим получил от Джонсона заверение, что Соединенные Штаты ничего не будут предпринимать.

То, что один из ведущих немецких либералов незадолго до того, как кризис достиг своей высшей точки насилия, побывал в Праге, возможно, было излишним, но это никак не могло повлиять на отношения между Прагой и Москвой. Готовность руководства Федерального банка на месте вести переговоры о расширении двусторонних отношений, после того как летом 1967 года наконец-то открылись торговые представительства обеих стран, ни в коей мере не носила враждебный характер по отношению к другим государствам. Встреча Эгона Бара, в то время начальника отдела планирования в руководимом мной министерстве иностранных дел, с чехословацким министром иностранных дел Иржи Гаеком во время его остановки в аэропорту во Франкфурте-на-Майне была вызвана оправданной

заинтересованностью в получении информации, и ничем больше. Однако из всего этого сконструировали нечто в высшей степени предосудительное. СДПГ также пришлось выслушать кучу бессмысленных упреков.

То, что социал-демократы в моей стране так же, как и в других странах, восприняли планы строительства «социализма с человеческим лицом» с большой симпатией, не могло никого удивить. Службы, специализирующиеся в получении секретной информации, разумеется, знали, как неукоснительно немецкие социал-демократы придерживались принципа невмешательства. Стремление к восстановлению чехословацкой социал-демократии (за самое короткое время возникло более трехсот местных организаций) нами ни в коей мере не поощрялось. Не все понимали, что там, где превыше всего была европейская ответственность за судьбы мира, социал-демократическая солидарность отступала на второй план.

* * *

Известие о военной интервенции стран Варшавского пакта застало меня на борту судна у берегов Норвегии. Я вылетел в Осло, а оттуда на самолете бундесвера в Бонн. Мои сотрудники в министерстве иностранных дел и в правлении партии так же, как и все, кого я встречал в те часы, были потрясены тем, что свободолюбивые порывы Пражской весны были раздавлены гусеницами танков. Я был подавлен и сгорал от стыда, что в карательной акции участвовали немецкие солдаты из Народной армии ГДР. Их численность была невелика, но сам по себе этот факт возмутил меня больше, чем моих консервативных коллег, считавших, что от коммунистов ничего другого нельзя было и ожидать.

Вождь румынской партии Николае Чаушеску, который уже после этого потерял рассудок и своим правлением повел страну к гибели, в то время выгодно отличался от руководителей других стран Варшавского Договора. Он отказался от участия в интервенции и оставил солдат в казармах. 21 августа на митинге под открытым небом он осудил вторжение. Во многих столицах его послы на крайний случай прощупывали возможность получения конкретной помощи. Чехословацкие оппозиционеры пришли к выводу, что Румыния избежала интервенции потому, что она продемонстрировала свою готовность к обороне. По поводу практического применения этого тезиса реформаторы, что, впрочем, неудивительно, не смогли прийти к общему

мнению.

В первые же дни после вторжения я случайно встретил пражского друга по стокгольмским дням. Вальтер Тауб снова вернулся к своей профессии актера и с успехом выступал на немецкой и австрийской сцене. Как и большинство интеллигенции, он был на стороне реформаторов. Будучи коммунистом, он со слезами на глазах спросил меня: «Неужели ни от кого в мире нельзя ждать помощи и неужели Европа это стерпит?» Я понимал тех, кто так воспринимал происшедшее, но ничем не мог им помочь. И уж совсем я был бессилен, если в своей беде и отчаянии они ожидали от западного союза нечто такое, для чего он не был создан.

Слов в эти дни было много. Но разве существовала разумная альтернатива курсу разрядки? В Бонне мы себе сказали, выйдя за рамки руководящих кругов моей партии, что возврат к временам усиленной конфронтации не поможет ни Чехословакии, ни кому-либо еще.

Я не дал себя вовлечь в кампанию по критике пражских реформаторов. Уж немцам-то, во всяком случае, не пристало обсуждать вопрос, достаточно ли стратегическим было их мышление и тактически грамотными – их действия. Кроме того, из подобных рассуждений редко получается что-то путное. Кому охота руководить столь широким движением за реформы, кто может направить в одно русло столь многообразные стремления к свободе? К тому же когда речь идет о народе с такими свободолюбивыми традициями?

Секретарь словацкой партии Александр Дубчек, сменивший в январе 1968 года в Праге руководителя компартии Новотного и опиравшийся на поразительный культурный подъем двух предшествующих лет, всплыл на гребне волны симпатий и доверия. Его сместили и заставили замолчать вероломные товарищи по партии, действовавшие сообща с соответствующими советскими органами. Как милостыню, он получил место посла в Анкаре, а позднее жил в изоляции под Братиславой. Мне импонировала его гордая стойкость. Он остался коммунистом, но самоотречения от него не добились. Когда его обвинили в сомнительных политических связях, он совершенно справедливо сослался на меня, сказав, что ради честного компромисса и делового сотрудничества он тоже приложил бы свои усилия. Ему не позволили это сделать.

ЧССР превратилась в отстающего партнера в области политических отношений между Западом и Востоком. Премьер-министр Румынии Ион Георге Маурер, этот интересный, всегда сыпавший остротами человек, как-то зло пошутил, сказав, что

Чехословакия – самое нейтральное государство в мире. Почему? Да потому, что она не вмешивается даже в свои собственные дела…

Брежнев, Андропов, Горбачев

…Перед летними каникулами в 1981 году я после шестилетнего перерыва вновь побывал в Советском Союзе, где принял участие в оживленной дискуссии в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук.

Я встретил Брежнева в плачевном состоянии. Ему стоило труда просто зачитать текст как во время переговоров, так и за столом. За обедом он только ковырял вилкой в какой-то закуске.

Он несколько оживился, когда заехал за мной в резиденцию для гостей на Ленинских горах, чтобы проводить на аэродром. Перед этим за рюмкой крепкого напитка, который врачи ему уже давно запретили, между нами опять зашел разговор о ракетах. Брежнев хотел знать, как я себе представляю в действительности «нулевое решение». Где он может встретиться с американцами, чтобы обсудить этот вопрос? Считаю ли я, что с этим президентом вообще можно о чем-то договориться? За Рейгана замолвил словечко Борис Пономарев, еще со времен Сталина работавший в международном отделе ЦК КПСС. Как глава делегации Верховного Совета, он посетил Рейгана в Сакраменто, когда он был еще губернатором Калифорнии, и его открытость и скромность произвели на всех членов делегации хорошее впечатление.

В застольной речи Брежнева 30 июня 1981 года говорилось, что СССР готов «приостановить дислокацию своих ракет средней дальности в европейской части страны в тот день, когда начнутся переговоры по существу вопроса», при условии, что США поступят так же. На это я ответил: «Я уже Вам говорил и хочу это здесь подтвердить: мы за переговоры, цель которых будет состоять в том, чтобы, проводя корректировку арсеналов имеющихся вооружений, сделать ненужным довооружение».

Перед своей поездкой в начале мая 1981 года я получил из Центрального Комитета КПСС письмо без даты, в котором шла речь о том, что «на советско-западногерманские отношения упала тень» от ракет, которые могут достичь советской территории и «спровоцировать войну против Советского Союза». В Кремле я на это возразил: «Можно понять, что Советский Союз воспринимает новое оружие как угрозу. Но и мы видим в ракетах СС-20 угрозу для нас. Взаимную угрозу следует как можно скорее устранить путем переговоров».

С обеих сторон лед еще не тронулся, пока не тронулся в какой-то степени и из-за того, что в Бонне над проблемой тоже трудились умники. Один переутомленный представитель

правительства считал, что оказывает своему шефу услугу, поучая меня. Это не помогало ни делу, ни правительству.

На американо-советских переговорах, наконец-то начавшихся в ноябре 1981 года в Женеве, долгое время не было заметно признаков прогресса. Советы были малоподвижны, а американцы почти все сводили к риторике. Многие считали, что Рейган предложил «нулевой вариант», будучи уверенным в том, что Советы на это все равно не пойдут. В начале марта 1982 года Брежнев сообщил мне, что Советский Союз против «нулевого решения». Я объяснил ему в середине того же месяца, почему я считаю, что американское предложение будет способствовать прогрессу на переговорах.

* * *

В июле 1982 года руководители делегаций совершили свою знаменитую «лесную прогулку», наметили компромисс, но командные центры в обеих столицах дали отбой. Федеральный канцлер даже не был поставлен надлежащим образом в известность, не говоря уже о том, что с ним не проконсультировались. Это должно было его озлобить. Что касается предмета переговоров, то Женева была обречена на неудачу. Смертельно больной преемник Брежнева Андропов, дело которого предстояло продолжить Горбачеву, слишком поздно (осенью 1982 года) попытался вызвать какое-то движение. Его предложение было направлено на установление «равновесия» по отношению к британо-французскому ядерному потенциалу. Следовало принять к сведению, что от него и его военных нельзя было ожидать большего. В сентябре 1983 года Андропов написал мне о контрмерах, которые будут предприняты, если Федеративная Республика «превратится в плацдарм для американских ракет первого удара».

В ответном письме от 22 сентября 1983 года я был вынужден напомнить ему о том, что Советскому Союзу нужно со своей стороны что-то предпринять: «Проявите инициативу!.. Ничто не может дать усилиям, направленным на недопущение новых американских ракет, более лучшей перспективы на успех, чем такой драматический и односторонний шаг Советского Союза, который, если американские ракеты тем не менее будут размещены, может быть также в одностороннем порядке отменен. Такой вклад может внести только Советский Союз, и никто другой. Я знаю, что на это нелегко решиться, но он полностью обеспечит интересы безопасности вашей страны». То, что мы

высказали свое мнение по этим вопросам не только Вашингтону, но и Москве, «несомненно является результатом развития отношений на основе Московского договора, без которого подобное было бы просто невозможно».

22 сентября 1983 года в соответствии с решением НАТО началось размещение ракет «Першинг-2». День спустя Советы ушли из-за стола переговоров в Женеве. Резолюции, протесты, сидячие блокады окончились ничем, и нам пришлось наблюдать, как в западной части Советского Союза вновь устанавливается «тактическое» ядерное оружие. Оно должно было, если этого потребует ситуация, вывести из строя ракетные базы на территории Федеративной Республики.

Лишь в начале 1985 года министры иностранных дел мировых ядерных держав вновь сели за стол переговоров и возобновили обсуждение щекотливой темы. В апреле, сразу после того как Горбачев пришел к руководству, он объявил, что размещение будет приостановлено. Осенью 1986 года он и Рейган во время встречи на высшем уровне в Рейкьявике, воспринятой всеми как сенсация, чуть было не совершили прорыв в этом направлении. В конце 1987 года в Вашингтоне было подписано соглашение по ракетам средней и ближней дальности.

* * *

Об ответственном партийном секретаре по фамилии Горбачев я еще в последние годы жизни Брежнева ничего не слышал. Потом я случайно узнал, что его продвинул Андропов, этот стремившийся к обновлению бывший шеф секретной службы, который, будучи тяжело больным, занял пост Генерального секретаря.

Когда я первый раз посетил Михаила Сергеевича Горбачева в мае 1985 года, как раз исполнилось два месяца со дня его вступления на свой пост. Кто только с тех пор не считал себя вправе высказываться об этом человеке? Какой он деятельный или какой опасный, сколько от него исходит обаяния или сколько в нем сидит лукавства. Приз за наименее компетентную и наименее полезную оценку этой личности достался главе германского правительства. Особенно глупым было предположение, что новое руководство пришло к власти вследствие жесткого курса Запада. Столь же безрассудным было желание, чтобы это руководство потерпело неудачу в проведении новой программы открытости и перестройки, так как в противном случае Советский Союз станет-де еще более опасным. Опять было

сказано, что нужно заставить их «вооружаться до смерти». Историческая заслуга Рейгана состояла в том, что он на это не пошел.

В лице Горбачева я еще во время нашей первой встречи в 1985 году нашел необычайно компетентного, разбирающегося в проблемах, целеустремленного и в то же время гибкого собеседника. Вечный спор о роли личности в истории получил новую и притом особенно яркую окраску. Посвященные не сомневались в том, что в его манере аргументации отразилось многое из того, что в течение многих лет он и его жена неоднократно мысленно проигрывали. Однако даже знатоки советской действительности не подозревали, насколько глубокие изменения произойдут во внутренней и внешней политике.

Характерным для нового внешнеполитического курса была готовность к серьезным переговорам. Это распространялось на ограничение как ядерных, так и обычных вооружений. От экспансионистского курса вне Европы отказались столь же решительно, как и от доктрины Брежнева, нашедшей такое страшное воплощение в 1968 году в Праге и резко осложнившей обстановку в Восточной Европе.

С другой стороны, с удовлетворением отмечалась готовность оказывать содействие в урегулировании конфликтов в других частях света, например в районе Персидского залива и на Юге Африки, в Камбодже и в Центральной Америке. В разговоре с глазу на глаз во время посещения Кремля в мае 1985 года я спросил Горбачева, действительно ли он собирается вскоре уйти из Афганистана. Он ответил: «Да, если американцы нас выпустят».

* * *

Во время нашей следующей встречи в 1988 году я попросил объяснить поподробнее, как вообще мыслится перестройка? Прежде чем ответить, он сделал столь же потрясающее, сколь и откровенное признание: очень трудно наполнить содержанием лозунг «Больше демократии, больше социализма». Административно-командная система прошлого не действует и обернулась против людей и трудовых коллективов. Необходимо привести в действие потенциальные силы общества и выбросить за борт унаследованные стереотипы. Это звучало более убедительно, чем упорное требование: «Никаких решений вне социализма! Никакой смены идейных знамен. Мы родились при социализме, живем в нем и не знаем ничего другого». Социализм,

который, по его утверждению, якобы существует в отрыве от основных предпосылок личной и политической свободы, должен освободиться от всех деформаций. После смерти Сталина Хрущев решительно взялся за дело, но «часто останавливался на полпути». При Брежневе ничто не сдвинулось с места. Поэтому теперь необходима демократизация «при участии всего народа». Главное в перестройке – это «изменение всего нашего мышления», что, как известно, легче сказать, чем сделать.

Он был согласен с тем, что социализм без демократии не действует, и это было не только второй смертью Сталина. Он не хотел этим сказать, что новое руководство готово примириться с существованием более чем одной партии. Вместо этого было сказано, что демократию нужно проводить в рамках партии, которая должна делить власть с общественными организациями. Он обещал своим согражданам и пытался объяснить функционерам, что не должно быть никаких ограничений научных исследований. Вопросы теории не могут и не должны решаться путем администрирования. «Необходимо свободное соревнование умов».

В тех случаях, когда от него ждали реакцию на развитие различных событий в странах «блока», он высказывался подчеркнуто осторожно. Для иллюзий он не оставлял много места. Как он сказал, ему не хотелось бы категорически утверждать, что на периферии плюрализму должно быть предоставлено больше свободного пространства, даже если это поставит под угрозу монополию партии. В то же время он недвусмысленно дал понять, что заинтересован в том, чтобы его страна на и без того изнурительном пути не была еще отягощена заботами «блока». Позднее он якобы сказал: «Пусть они сами разбираются, мы не будем вмешиваться»…

* * *

Кто был за Михаила Сергеевича Горбачева и кто против? Его основная опора – это интеллигенция, ученые, деятели искусства, молодые работники партийного аппарата и государственного управления, сознающие необходимость реформ. «Трудящиеся», в массе своей, выжидали, а то и роптали, тем более что положение со снабжением скорее ухудшилось, чем улучшилось, а борьба с алкоголизмом – объективно необходимая – воспринималась как бесполезное занятие.

Военное руководство, демонстрируя свою лояльность, действовало искренне: у него были свои интересы в обновлении

экономики. Брежнев за несколько недель до смерти созвал видных представителей вооруженных сил и сообщил им, что растущие военные расходы вступили в конфликт с реальными экономическими прибылями.

Перенес ли КГБ – орган, ведающий вопросами государственной безопасности, – уважение к своему бывшему шефу Юрию Андропову на Горбачева или отстранился от него, для постороннего наблюдателя осталось неизвестным.

Горбачев не скрывал, что в рядах бюрократии растут недовольство и несогласие. Мне было неясно, удастся ли преодолеть это сопротивление, а если да, то каким образом. Но я ни секунды не сомневался в том, что мы должны желать всяческого успеха реформам и реформатору.

Я был глубоко взволнован, когда в апреле 1988 года, едва приехав, услышал о реабилитации и Карла Радека, того самого польского коммуниста с частично немецким происхождением, который на одном из сталинских процессов избежал смертного приговора, но затем погиб в лагере.

Глубоко взволновало меня также известие, что шесть тысяч лежавших в спецхранах книг снова предоставлены в распоряжение историков. Официальное восстановление чести и достоинства жертв террора и беспощадное разоблачение того, что пришлось пережить при сталинском режиме немецким и другим эмигрантам, я нашел в высшей степени достойным одобрения, и не в последнюю очередь из-за их семей.

Горбачев в 1987 году, идя гораздо дальше Хрущева, назвал те «настоящие преступления», жертвами которых стали тысячи советских людей. Вина Сталина и его окружения огромна и непростительна, сказал он, «это, товарищи, горькая правда». Горькой в большинстве случаев бывает правда, которую не все хотят слышать. Однако значение того, что сделало новое московское руководство для нравственности в Советском Союзе и у его союзников, вряд ли можно переоценить.

* * *

Разговор с глазу на глаз во время визита в мае 1985 года мне особенно запомнился той откровенностью, с которой Горбачев отвечал на вопросы, по привычке называемые «гуманитарными». Я сказал, что на этот раз у меня три папки, полные петиций. Он кивнул. В первой папке, сказал я, дела лиц немецкого происхождения, ходатайствующих о воссоединении семей; некоторые просьбы уже удовлетворены. Он снова кивнул.

Вторая папка, сказал я, содержит дела советских граждан, оказавшихся в тяжелом положении. У нас их называют диссидентами. Он опять кивнул.

В третьей папке, сказал я, лежат просьбы о выезде евреев; родственники, живущие у нас и в Израиле, а также из Советского Союза прислали мне письма. Когда я в последний раз в Москве решился изложить подобные дела, меня довольно резко отчитали. Брежнев в 1981 году: «Я знаю, что у вас много должностей, но не пытайтесь убедить меня в том, что вы стали еще президентом Всемирного еврейского конгресса вместо Наума Гольдмана». Иначе Горбачев: «Кого вы уполномочите обсудить завтра в первой половине дня все эти дела с выделенным мной человеком?» Так оно и случилось, и наши сотрудники смогли помочь урегулированию многих дел, связанных с правами человека, прежде чем улучшилось общее положение.

Кто может сегодня измерить всю важность тех событий, когда были освобождены жертвы произвола, когда можно было посетить Андрея Сахарова в его московской квартире, когда укрепились правовая безопасность, а также свобода мнений и вероисповедания, когда состоялись демократические выборы, какими бы несовершенными они ни были, когда можно было открыто говорить о масштабах террора и лжи, выходящих далеко за пределы нормального понимания.

Хорошим признаком нормализации было то, что рассказал мне в 1988 году один почтенный публицист. Его взрослая дочь спросила: «Отец, ведь ты не мог не знать о преступлениях, о которых теперь так много пишут? Почему же ты мне ничего об этом не говорил?..»

Не случайно, Джордж Кеннан, большой знаток американо-русских отношений, был готов поставить свою подпись под заявлением, что «гнилой радикализм сталинского угнетения» принадлежит прошлому.

Генри Киссинджер

Крах «доктрины Брежнева» (Из книги Г. Киссинджера «Дипломатия»)

Берлинская стена для вьетнамской войны

…После сооружения Берлинской стены в 1961 году вопрос объединения Германии стал исчезать из повестки дня в переговорах между Востоком и Западом, а германское стремление к единству было временно отложено в долгий ящик. В эти годы де Голль решил прозондировать возможность ведения переговоров с Москвой независимо от Соединенных Штатов посредством провозглашения политики «разрядки, согласия и сотрудничества» с Восточной Европой. Надеялся он на то, что, если Москва будет воспринимать Европу как самостоятельно действующую сторону, а не как американского сателлита, кремлевские руководители, с учетом наличия у них проблем с Китаем, возможно, ослабят мертвую хватку, которой они удерживали Восточную Европу. Де Голль хотел, чтобы Западная Германия в какой-то мере отошла бы от Вашингтона и последовала бы за Францией в ее обращении к Советам.

Анализ, сделанный де Голлем, был совершенно верен, но он переоценил возможности Франции воспользоваться быстротекущими изменениями в международном положении. Федеративная Республика не была настроена поворачиваться спиной к могущественной Америке. Тем не менее концепция де Голля нашла определенный отклик у некоторых западногерманских лидеров, которые пришли к мысли, что Федеративная Республика обладает такими переговорными плюсами, которых нет в распоряжении Франции. Брандт, являвшийся министром иностранных дел, когда генерал разыгрывал свой гамбит, понял, что лежало в основе представлений де Голля. Немцы, поддерживавшие инициативу де Голля, вспоминает он, «не смогли уяснить, что генерал не собирается претворять в жизнь их мечту о европейских силах ядерного устрашения (он твердо исключал германское в них участие). Они также не обращали внимания на тот факт, что он занимался разработкой такой политики разрядки, которую никогда бы не поддержало правое крыло Союза (германской консервативной партии) и которая во многих отношениях прокладывала дорогу нашей будущей „восточной политике»«.

Советское вторжение в Чехословакию положило конец инициативе де Голля, но по иронии судьбы открыло дорогу Брандту, когда в 1969 году настал его черед быть западногерманским руководителем.

Брандт тогда выдвинул парадоксальный для того времени тезис, будто, поскольку надежда на Запад завела страну в тупик,

объединение Германии может быть достигнуто путем германского примирения с коммунистическим миром. Он настаивал на том, чтобы его страна признала восточногерманское государство-сателлит, согласилась с польской границей (по линии Одер – Нейссе) и улучшила отношения с Советским Союзом. А когда ослабнет напряженность в отношениях между Востоком и Западом, Советский Союз, не исключено, окажется гораздо менее жестким в вопросах объединения. По крайней мере, могут быть значительно улучшены условия жизни восточногерманского населения.

Первоначально у администрации Никсона преобладала острейшая настороженность по поводу того, что Брандт называл «восточной политикой». Поскольку каждое из германских государств стремилось увлечь за собой другое, они могли в конце концов сойтись на какой-нибудь националистической, нейтралистской программе, чего опасались Аденауэр и де Голль. Федеративная Республика обладала более привлекательной политической и социальной системой; у коммунистов было то преимущество, что если их государство признают, то факт этот станет необратимым, и в их руках будет находиться ключ к объединению. Более всего администрация Никсона опасалась за единство Запада. Де Голль уже разорвал объединенный фронт Запада против Москвы, выведя Францию из НАТО и проводя собственную политику разрядки с Кремлем. Призрак Западной Германии, вырывающейся на волю и действующей самостоятельно, бросал Вашингтон в дрожь.

И все же, по мере развития инициативы Брандта, до Никсона и его окружения стало доходить, что, несмотря на все тернии «восточной политики», альтернатива была еще рискованнее. Внезапно стало до предела ясно, что «доктрина Халлштейна» нежизнеспособна. К середине 60-х годов сам Бонн вынужден был ее скорректировать применительно к восточноевропейским коммунистическим правительствам на том весьма зыбком основании, что они не обладают свободой самостоятельного принятия решений.

* * *

Проблема, однако, оказалась гораздо глубже. В 60-е годы и в голову не могло прийти, что Москва позволит своему восточногерманскому сателлиту рухнуть без какого бы то ни было кризиса. А любой кризис, который мог бы оказаться результатом настоятельного стремления Германии к

осуществлению своих национальных чаяний или мог быть воспринят подобным образом, нес бы в себе мощнейший разрушительный потенциал для Западного альянса. Ни один из союзников не пожелал бы пойти на риск возникновения войны ради объединения страны, ставшей причиной стольких страданий в военное время. Никто не ринулся на баррикады, когда Никита Хрущев пригрозил передать пути доступа в Берлин под контроль восточногерманских коммунистов. Все без исключения западные союзники смирились с сооружением стены, разделившей Берлин и ставшей символом разделенной Германии. В течение многих лет демократические страны на словах выступали в защиту идеи германского единства, но ничего не делали ради ее осуществления. Этот подход исчерпал все пределы своих возможностей. Германская политика Атлантического союза терпела крах.

Поэтому Никсон и его советники пришли к признанию «восточной политики» необходимостью, даже полагая, что Брандт, в отличие от Аденауэра, никогда не был эмоционально близок Атлантическому союзу. Существовали только три державы, способные нарушить послевоенный статус-кво в Европе: обе сверхдержавы и Германия, если бы она решила пожертвовать всем ради объединения. В 60-е годы деголлевская Франция попыталась перекроить сложившиеся сферы влияния и потерпела неудачу. Но если бы Германия, экономически самая мощная из стран Европы и обладающая наибольшими поводами для недовольства в территориальном плане, попыталась разрушить послевоенный порядок, последствия могли бы быть самыми серьезными. И когда Брандт выказал намерения самостоятельно сделать шаг по направлению к Востоку, администрация Никсона сделала вывод, что Соединенным Штатам следует его поддержать, а не препятствовать его усилиям и идти на риск отрыва Федеративной Республики от связующей общности НАТО. Ведь это автоматически освободит ее от ограничений, налагаемых членством в Европейском экономическом сообществе!

Более того, поддержка «восточной политики» давала в руки Америки рычаги, необходимые для того, чтобы покончить с двадцатилетним кризисом по поводу Берлина. Администрация Никсона настаивала на строжайшей взаимосвязи «восточной политики» и вопроса доступа в Берлин, а также между обеими этими проблемами и советской сдержанностью в общем плане. Поскольку «восточная политика» базировалась на конкретных германских уступках: признании линии Одер – Нейссе и восточногерманского режима в обмен на столь неосязаемые вещи, как улучшение отношений, – Брандт никогда бы не получил

парламентского одобрения, если бы это не было увязано с конкретными новыми гарантиями доступа в Берлин и свободы города-анклава. Иначе Берлин оказался бы жертвой коммунистических издевательств, будучи расположен на 110 миль в глубь территории восточногерманского сателлита, суверенитет которого был бы теперь признан международным сообществом, – то есть возникла бы как раз та самая ситуация, которую пытались породить Сталин и Хрущев при помощи блокад и ультиматумов. В то же время Бонн не обладал достаточными средствами для самостоятельного решения берлинского вопроса. Только Америка была настолько сильна, чтобы преодолеть потенциальное давление, унаследованное вместе с изоляцией Берлина, и обладала дипломатическими рычагами, чтобы изменить процедуру доступа.

Юридический статус Берлина как анклава, располагающегося в глубине находящейся под советским контролем территории, основывался на правовой фикции, будто бы он с формальной точки зрения «оккупирован» четырьмя державами – победительницами во Второй мировой войне. Таким образом, переговоры по Берлину вынужденно сводились к дискуссиям между Соединенными Штатами, Францией, Великобританией и Советским Союзом. По ходу дела как советское руководство, так и Брандт (через своего исключительно умелого помощника Эгона Бара) обратились к Вашингтону с просьбой о помощи в выходе из тупика. В результате сложнейших переговоров летом 1971 года было подписано новое соглашение четырех держав, гарантирующее свободу Западного Берлина и доступ Запада в город. С того момента Берлин исчез из перечня международных кризисных точек. В следующий раз он появится в мировой повестке дня тогда, когда рухнет стена и настанет крах Германской Демократической Республики.

* * *

В дополнение к соглашению по Берлину «восточная политика» Брандта принесла с собой договоры о дружбе между Западной Германией и Польшей, между Западной и Восточной Германией и между Западной Германией и Советским Союзом. То, что Советы делали такой упор на признание Западной Германией границ, установленных Сталиным, на деле являлось признаком слабости и неуверенности в себе. Федеративная Республика, будучи усеченным государством, по сути дела, не в состоянии была бы бросить вызов ядерной сверхдержаве. В то же

время эти договоры дали Советам гигантский стимул к сдержанности поведения хотя бы на период их обсуждения и ратификации. Когда эти договоры оказались на рассмотрении западногерманского парламента, Советы воздерживались от чего бы то ни было, что могло бы повредить их одобрению; а потом они проявляли особую осторожность, чтобы не побуждать Германию вернуться вспять, к политике Аденауэра. И потому, когда Никсон решил заминировать северо-вьетнамские порты и возобновить бомбардировки Ханоя, Москва в ответ в основном помалкивала. Пока положение Никсона во внутриполитическом плане было прочным, разрядка с успехом сводила воедино целый ряд проблем отношений Востока и Запада в масштабах всего земного шара. И если Советы хотели пожать плоды разрядки напряженности, они также были обязаны внести свой вклад в ее успех.

Вопрос о еврейской эмиграции из СССР

Как предмет дипломатических переговоров вопрос еврейской эмиграции из Советского Союза был порождением администрации Никсона. До 1969 года ничего подобного никогда не стояло в повестке дня при диалоге между Востоком и Западом; все прочие администрации обеих партий трактовали его как предмет внутренней юрисдикции Советского Союза. В 1968 году только 400 евреям было позволено эмигрировать из Советского Союза, и ни одна из демократических стран этого вопроса не затронула.

По мере улучшения американо-советских отношений администрация Никсона начала обсуждать проблему эмиграции в форме президентских закулисных переговоров, сопровождая это тем доводом, что советские действия не остаются незамеченными на самых высоких уровнях власти в Америке. Кремль начал реагировать на американские «соображения», особенно после того, как советско-американские отношения стали улучшаться. Каждый год росло число еврейских эмигрантов, и к 1973 году общее их число достигло 35 тыс. в год. Кроме того, Белый дом регулярно направлял советским руководителям перечень трудных случаев: когда конкретным лицам отказывали в выездной визе, или когда разлучались семьи, или когда кто-то попадал в тюрьму. Большинству из этих советских граждан было позволено эмигрировать.

Все это осуществлялось посредством того, что при изучении начального курса дипломатии именуется «молчаливым торгом». Не делается никаких официальных запросов, не дается никаких официальных ответов. Советские действия совершаются, не получая формального подтверждения. Но порядок эмиграции из Советского Союза постоянно совершенствовался, хотя Вашингтон никогда не предъявлял по этому поводу конкретных претензий. Администрация Никсона до того строго придерживалась подобных правил, что никогда не ставила себе в заслугу смягчение участи советских эмигрантов – даже во время избирательных кампаний – до тех пор, пока сенатор Генри Джексон не превратил вопрос еврейской эмиграции в предмет общественной конфронтации.

* * *

Джексона подвигло на это курьезное решение Кремля летом

1972 года наложить «выездной сбор» на эмигрантов, якобы для того, чтобы возместить советскому государству расходы на образование отъезжающих граждан. Никаких объяснений дано не было; возможно, это была попытка подать себя наиболее выгодным образом в арабском мире, непрочность позиции которого наглядно продемонстрировало удаление из Египта советских боевых подразделений. А может быть, налог на отъезжающих был придуман как средство изыскания источников поступления иностранной валюты в надежде на то, что ее заплатят американские сторонники роста эмиграции. Боясь, что поток эмиграции иссякнет, еврейские группировки обращались как к администрации Никсона, так и к их неизменной опоре – Генри Джексону.

В то время как администрация Никсона продолжала действовать тихой сапой, чтобы разрешить этот вопрос с послом Добрыниным, Джексон изобрел оригинальное средство публичного оказания давления на Советский Союз. В рамках встречи 1972 года было подписано соглашение между Соединенными Штатами и Советским Союзом, предоставляющее Советскому Союзу статус наиболее благоприятствуемой нации в обмен на урегулирование оставшихся со времен войны долгов по ленд-лизу. В октябре 1972 года Джексон предложил поправку, запрещавшую предоставление статуса наиболее благоприятствуемой нации любой из стран, искусственно ограничивающих эмиграцию.

Это был блестящий в тактическом отношении ход.

Сами слова «статус наибольшего благоприятствования» звучат весьма значительно, хотя по сути это означает всего лишь отсутствие дискриминации. Статус этот не дает никаких особых привилегий, но просто предоставляет реципиенту привилегии, имеющиеся у всех наций, с которыми Соединенные Штаты поддерживают нормальные коммерческие отношения (а число их тогда превышало сотню). Режим наибольшего благоприятствования способствует развитию нормальной торговли на базе коммерческой взаимности. С учетом состояния советской экономики объем такого рода торговли заведомо не мог быть большим. Зато при помощи поправки Джексона удалось достичь того, что советская эмиграционная практика стала не только предметом открытой дипломатической деятельности, но и законодательной деятельности американского Конгресса.

По существу предмета разногласий между администрацией и Джексоном не было. Более того, администрация заняла твердую точку зрения и по ряду других вопросов, связанных с правами человека. К примеру, я неоднократно и настойчиво обращался к

Добрынину по поводу писателя-диссидента Александра Солженицына, что способствовало его отъезду из Советского Союза. Джексон, однако, не поощрял тихой дипломатии применительно к правам человека и настаивал на том, чтобы американская преданность этому делу демонстрировалась открыто и напоказ, – чтобы успехи вознаграждались, а неудачи влекли за собой негативные последствия.

Для Джексона и его сторонников вопрос еврейской эмиграции был внешним выражением идеологической конфронтации с коммунизмом. Неудивительно, что каждую советскую уступку они рассматривали с точки зрения успешности своей тактики давления. Советские руководители отменили выездной сбор: вследствие ли представлений со стороны Белого дома, или в силу поправки Джексона, или благодаря и тому и другому, что наиболее вероятно, – мы, однако, сможем точно узнать это лишь тогда, когда раскроются советские архивы. Воспрявшие духом критики администрации потребовали увеличения вдвое численности еврейской эмиграции и снятия запретов на эмиграцию других национальностей в соответствии со схемой, подлежащей одобрению со стороны Соединенных Штатов. Силами сторонников Джексона были также законодательно оформлены ограничения по займам и кредитам Советскому Союзу со стороны Экспортно-импортного банка (поправка Стивенсона), так что в коммерческих вопросах Советский Союз в итоге очутился в худшем положении после начала разрядки по сравнению с ситуацией до начала ослабления напряженности между Востоком и Западом.

* * *

Будучи руководителем страны, которая только-только начинала приходить в себя после изнурительной вьетнамской войны, но зато входила в полосу кризиса президентской власти, Никсон шел только на такой риск, который соответствовал его концепции национальных интересов и который его страна была бы готова поддержать. Зато его критики желали, чтобы американская дипломатия довела советскую систему до краха посредством требования односторонних уступок в деле контроля над вооружениями, ограничения торговли и демонстративной защиты прав человека. По ходу дела произошло кардинальное изменение позиций ряда основных участников общенациональных дебатов. «Нью-Йорк таймс» в одной из передовых статей в 1971 году предупреждала, что «тактика

ограничения торговли с Америкой в качестве рычага позднейших уступок по поводу не связанных с этим вопросов в еще меньшей степени способна положительно повлиять на советскую политику, чем сама торговля…». Через два года автор передовиц сменил курс. Он осудил поездку министра финансов Джорджа Шульца в Советский Союз, объявив ее свидетельством того, что «администрация до такой степени заинтересована в торговле и разрядке, что готова отодвинуть в сторону в равной степени весомую озабоченность американского народа вопросами прав человека где бы то ни было».

Никсон старался поощрять умеренность в поведении Советского Союза на международной арене посредством лакмусовой бумажки роста торговли с Америкой, показывающей качество советской внешней политики. Его оппоненты пытались провести принцип увязки еще дальше, чтобы попытаться при помощи торговли стимулировать радикальные внутренние перемены в Советском Союзе в те времена, когда Советский Союз был еще силен и уверен в себе. Всего за четыре года до этого осуждаемый как глашатай «холодной войны», Никсон теперь подвергался осуждению за исключительную мягкость и доверчивость в отношении Советского Союза – безусловно, впервые такого рода обвинение адресовалось человеку, который начал свою политическую карьеру антикоммунистическими расследованиями конца 40-х годов.

Вскоре был брошен вызов самой концепции улучшения советско-американских отношений, как это было сделано в передовой статье «Вашингтон пост»:

«Самый трудный вопрос по поводу того, что же является сущностью советско-американской разрядки, переходит из фазы дебатов в фазу политики. Значительное число американцев, похоже, приходит к убеждению, что улучшение отношений с Советским Союзом нежелательно, невозможно и небезопасно, пока Кремль не либерализирует кое-какие вопросы своей внутренней политики»«.

Споры превратились в дебаты, суть которых была известна еще со времен Джона Квинси Адамса и заключалась в том, должны ли Соединенные Штаты довольствоваться утверждением собственных моральных ценностей или обязаны начинать в их защиту крестовый поход. Никсон пытался соотнести цели и задачи Америки с ее возможностями. В этих пределах он был готов воспользоваться влиянием Америки для пропаганды ее ценностей, что доказывается его поведением по вопросу еврейской эмиграции.

Критики требовали от него немедленного воплощения в

жизнь универсальных принципов и отмахивались с нетерпением от понятия целесообразности, считая ссылку на него доказательством морального несоответствия или исторического пессимизма. Утверждая исключительность американского идеализма, администрация Никсона полагала, что он исполняет важную просветительскую функцию. В тот момент, когда Америку наставляли, что она на примере Вьетнама должна научиться определять пределы геополитических возможностей, фигуры общенационального масштаба в авангарде критикующих вьетнамскую политику настаивали на том, чтобы страна избрала курс неограниченного и глобального вмешательства в проблемы мировой гуманности. Какая ирония судьбы!

Как потом покажут годы пребывания Рейгана на президентском посту, более решительная политика по отношению к Советскому Союзу породила ряд успехов и достижений, хотя эти успехи стали очевидны лишь на позднейшей стадии советско-американских отношений. Но когда только разгорались дебаты по поводу разрядки, Америке еще предстояло оправиться после Вьетнама и позабыть про «уотергейт». А у советских лидеров должна была произойти смена поколений. Но то, как разворачивались дебаты в начале 70-х годов, тем не менее позволило сохранить определенное равновесие между идеализмом, пронизывающим все великие американские инициативы, и реализмом, предопределенным переменой глобальной обстановки.

Критики разрядки упрощали предмет спора до предела; администрация Никсона во вред себе чересчур педантично отвечала на все вопросы. Уязвленный нападками со стороны бывших друзей и союзников, Никсон отмахивался от критики, как политически мотивированной. Каким бы верным ни было это его предположение, вряд ли надо обладать глубинной проницательностью, чтобы обвинять профессиональных политиков в наличии у них политических мотивов. Администрации следовало бы задать себе вопрос: почему столько политиков сочло для себя целесообразным присоединиться к лагерю Джексона.

* * *

Очутившись в тисках между уравнительным морализаторством и чрезмерным упором на геополитику, американская политика к концу срока пребывания Никсона на посту президента оказалась в тупике. Пряник роста торговли был

припрятан, кнут роста оборонных расходов, или даже готовность противостоять геополитическим конфронтациям, и вовсе отсутствовал. Переговоры об ОСВ замерли; еврейская эмиграция из Советского Союза превратилась в тоненькую струйку; а коммунистическое геополитическое наступление возобновилось с направлением кубинского экспедиционного корпуса в Анголу, где образовалось коммунистическое правительство, в то время как американские консерваторы выступали против твердого американского ответа на это. Я обрисовал эти трудности следующим образом:

«Если одна группировка критиков подрывает ведение переговоров по контролю над вооружениями и устраняет перспективы более конструктивных связей с Советским Союзом, то другая группировка урезает наши оборонные бюджеты и сокращает разведывательные службы, что становится серьезной помехой сопротивляемости Америки советскому авантюризму, причем объединенное воздействие обеих тенденций, независимо от первоначальных намерений каждой из группировок, в итоге приводит к тому, что разрушает способность нации вести твердую, изобретательную, умеренную и благоразумную внешнюю политику».

Вопрос о правах человека

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, в котором приняло участие тридцать пять государств и результатом которого явились Хельсинкские соглашения, потомки назовут значительнейшим дипломатическим достижением Запада. Этот громоздкий дипломатический процесс имел в своей основе глубоко укоренившееся у Москвы чувство неуверенности в себе и неуемную жажду легитимизации. Даже создав гигантский военный истеблишмент и удерживая при себе более сотни наций, Кремль действовал так, словно постоянно нуждался в подтверждении собственного могущества. Независимо от наличия огромного и постоянно растущего ядерного арсенала, Советский Союз требовал от тех самых стран, которым он угрожал в течение десятилетий и которых приговорил к тому, чтобы они оказались на мусорной свалке истории, той или иной формулировки, при помощи которой освящались бы их приобретения. В этом смысле Европейское Совещание стало брежневским эрзацем хрущевскому мирному договору с Германией, которого Хрущеву так и не удалось добиться при помощи берлинского ультиматума, – и крупномасштабным подтверждением послевоенного статус-кво.

Конкретная выгода, предусмотренная Москвой, вовсе не была самоочевидной. Настоятельное желание колыбели идеологической революции получить подтверждение собственной легитимности со стороны заведомых жертв исторической необходимости являлось симптомом исключительной неуверенности в себе. Возможно, советские руководители делали ставку на вероятность того, что конференция создаст по окончании какие-либо институты, которые либо растворят в себе НАТО, либо лишат его какого бы то ни было значения.

Это являлось чистейшим самообманом. Ни одна из стран НАТО не собиралась подменять декларативно-бюрократическими конструкциями Европейского Совещания военные реалии НАТО или присутствие американских вооруженных сил на континенте. Москва, как выяснилось позднее, теряла от этой конференции гораздо больше, чем демократические страны, ибо в итоге она предоставила всем своим участникам, включая Соединенные Штаты, право голоса в вопросах политического устройства Восточной Европы.

* * *

После периода сомнений администрация Никсона согласилась с предложением о проведении Совещания. Отдавая себе отчет в том, что у Советского Союза существует свой, прямо противоположный план его проведения, мы тем не менее воспользовались столь далеко идущими возможностями. Границы стран Восточной Европы давно уже были признаны мирными договорами, заключенными по окончании Второй мировой войны между военными союзниками и военными сателлитами Германии в Восточной Европе. Они затем были четко подтверждены в двухсторонних соглашениях, заключенных Вилли Брандтом между Федеративной Республикой и странами Восточной Европы, а также между другими демократическими странами НАТО, особенно Францией, и странами Восточной Европы (включая Польшу и Советский Союз). Более того, все союзники по НАТО настаивали на проведении Европейского Совещания по вопросам безопасности; на каждой из встреч с советскими представителями западноевропейские лидеры делали очередной шаг в сторону принятия советской повестки дня.

И тогда в 1971 году администрация Никсона решила включить Европейское Совещание по безопасности в число своего списка инициатив, стимулирующих советскую сдержанность. Мы применили стратегию «увязывания», итоги которой подвел откровенно и точно советник государственного департамента Хельмут Зонненфельдт: «Мы воспользовались ею ради заключения Германо-Советского договора, мы воспользовались ею ради соглашения по Берлину, и мы опять-таки воспользовались ею ради начала переговоров МБФР (переговоров по взаимному сбалансированному сокращению вооруженных сил в Европе)».

Вначале администрация Никсона, а затем администрация Форда предопределили исход конференции, обусловив участие в ней Америки сдержанностью советского поведения по всем другим вопросам. Они настояли на удовлетворительном завершении переговоров по Берлину и на начале переговоров о взаимном сокращении вооруженных сил в Европе. Когда все это было завершено, делегации тридцати пяти наций прибыли в Женеву, хотя тернистый путь этих переговоров почти не освещался западной прессой. Зато в 197S году Совещание вышло на авансцену, когда было объявлено, что договоренность достигнута и соглашения будут подписаны в Хельсинки во время встречи на уровне глав государств.

Американское влияние способствовало сведению положения о признании границ к обязательству не изменять их при помощи силы, что являлось прямым повторением Устава ООН. Поскольку ни одна из европейских стран не обладала возможностью

осуществить такого рода насильственные изменения или проводить направленную на это политику, то такого рода формальный отказ вряд ли можно было считать советским достижением. Даже это ограниченное признание их законности перечеркивалось утверждением предшествовавшего этому положению принципа, в основном отстаивавшегося Соединенными Штатами. Он гласил, что нижеподписавшиеся государства «полагают, что их границы могут быть изменены, в соответствии с международным правом, мирными средствами и путем соглашения».

* * *

Наиболее важным положением Хельсинкских соглашений явилась так называемая «третья корзина» по вопросам прав человека. («Первая» и «вторая» «корзины» соответственно касались политических и экономических вопросов.) «Третьей корзине» было суждено сыграть ведущую роль в исчезновении орбиты советских сателлитов, и она стала заслуженной наградой всем активистам в области прав человека в странах НАТО. Американская делегация, безусловно, внесла свой вклад в выработку заключительного акта Хельсинкских соглашений. Но особой благодарности заслуживают именно активисты движений за права человека, потому что в отсутствие давления с их стороны прогресс осуществлялся бы гораздо медленнее и масштабы его были бы куда менее значительны.

«Третья корзина» обязывала все подписавшие соглашения страны претворять в жизнь и обеспечивать определенные, конкретно перечисленные основные права человека. Западные составители этого раздела надеялись, что эти положения создадут международный стандарт, который будет сдерживать советские репрессии против диссидентов и преобразователей. Как выяснилось, герои-реформаторы в Восточной Европе использовали «третью корзину» как фундамент сплочения в борьбе за освобождение своих стран от советского владычества. Вацлав Гавел в Чехословакии и Лех Валенса в Польше обеспечили себе место в пантеоне борцов за свободу благодаря тому, что использовали эти положения как во внутреннем, так и во внешнем плане для подрыва не только советского господства, но и коммунистических режимов в собственных странах.

Европейское Совещание по безопасности, таким образом, сыграло важную роль двоякого характера: на предварительных этапах оно делало более умеренным советское поведение в

Европе, а впоследствии – ускорило развал советской империи.

Через три недели после Совещания я суммировал в своей речи отношение ко всему этому администрации Форда:

«Соединенные Штаты осуществляют процесс ослабления напряженности с позиции силы и уверенности в себе. Не мы обороняемся в Хельсинки; не нам бросают вызов все делегации с требованием жить согласно принципам, под которыми ставится наша подпись. В Хельсинки впервые за весь послевоенный период вопросы прав человека и фундаментальных свобод стали признанными предметами диалога и переговоров между Востоком и Западом. Конференция выдвинула наши стандарты человеческого поведения, которые были и остаются маяком надежды для миллионов».

«Доктрина Рейгана»

…Холодная война» началась тогда, когда Америка ожидала наступления эры мира. А закончилась «холодная война» в тот момент, когда Америка готовила себя к новой эре продолжительных конфликтов. Крушение советской империи свершилось еще более внезапно, чем развал ее за пределами границ собственно СССР; с той же скоростью Америка диаметрально изменила собственное отношение к России, за какие-то несколько месяцев перейдя от враждебности к дружбе.

Эти моментальные перемены свершились под эгидой двух совершенно невероятных партнеров. Избрание Рональда Рейгана было своего рода реакцией на кажущееся американское отступление ради утверждения традиционных истин американской исключительности. Горбачев, пробившийся к известности через жесточайшую борьбу на всех уровнях коммунистической иерархии, был преисполнен решимости вдохнуть новую силу в передовую, как он считал, советскую идеологию.

И Рейган, и Горбачев верили в конечную победу собственной стороны. Однако существовало знаменательное различие между этими двумя столь неожиданными партнерами: Рейган понимал, какие силы движут его обществом, в то время как Горбачев абсолютно утерял с ними связь. Оба лидера апеллировали к тому лучшему, что видели в своих системах. Но Рейган высвободил дух своего народа, пустив в ход золотой запас инициативы и уверенности в себе. Горбачев же резко ускорил гибель представляемой им системы, призывая к реформам, провести которые он оказался не способен.

* * *

Вслед за крахом в Индокитае в 1975 году последовало отступление Америки из Анголы и углубление внутреннего раскола вследствие невероятного всплеска советского экспансионизма. Кубинские вооруженные силы распространились от Анголы до Эфиопии в тандеме с тысячами советских военных советников. В Камбодже вьетнамские войска, поддерживаемые и снабжаемые Советским Союзом, подчиняли себе эту истерзанную страну. Афганистан был оккупирован советскими войсками в количестве более 100 тыс. человек. Правительство прозападно настроенного шаха Ирана рухнуло, и на его место пришел

радикально антиамериканский фундаменталистский режим, захвативший пятьдесят два американца, большинство из которых были официальными лицами, в качестве заложников. Независимо от причин, костяшки домино продолжали выпадать.

И все же когда международный престиж Америки опустился до самого низкого уровня, коммунизм начал отступать. В какой-то момент, в начале 80-х казалось, что коммунизм набрал темп и вот-вот сметет все на своем пути; и почти немедленно, в отмеренное историей время, коммунизм приступил к саморазрушению. В пределах десятилетия прекратила свое существование орбита восточноевропейских сателлитов, а советская империя распалась на части, теряя почти все русские приобретения со времен Петра Великого. Ни одна мировая держава не рассыпалась до такой степени полностью и так быстро, не проиграв войны.

Отчасти советская империя распалась потому, что собственная история подталкивала ее к перенапряжению. Советское государство возникло вопреки всему, а затем ухитрилось пережить гражданскую войну, изоляцию и последовательное пребывание у власти свирепейших правителей. В 1934–1941 годах оно умело превратило маячившую на горизонте Вторую мировую войну в так называемую «империалистическую гражданскую войну», а затем преодолело нацистский натиск при содействии западных союзников. Позднее перед лицом американской атомной монополии оно сумело создать цепочку государств-сателлитов в Восточной Европе, а в послесталинский период превратить себя в глобальную сверхдержаву. Поначалу советские армии угрожали лишь сопредельным территориям, но потом дотянулись до отдаленных континентов. Советские ядерные силы росли с такой скоростью, которая заставляла многих американских экспертов опасаться того, что советское стратегическое превосходство неизбежно. Как британские лидеры XIX столетия Пальмерстон и Дизраэли, американские государственные деятели полагали, что Россия повсеместно находится на марше.

Фатальным просчетом раздувшегося империализма Советов было то, что их руководители на этом пути утеряли чувство меры и переоценили способности своей системы консолидировать сделанные приобретения как в военном, так и в экономическом отношении, а к тому же позабыли, что они в буквальном смысле бросают вызов всем прочим великим державам при наличии весьма слабого фундамента. Да и не в состоянии были советские руководители признаться самим себе, что их система была смертельно поражена неспособностью генерировать инициативу и

творческий порыв; что на самом деле Советский Союз, несмотря на всю свою военную мощь, являлся все еще весьма отсталой страной. Причины, которыми руководствовалось советское Политбюро, душили творческие способности, необходимые для развития общества, и мешали его устойчивости в конфликте, который само Политбюро спровоцировало.

Попросту говоря, Советский Союз не был достаточно силен или достаточно динамичен для исполнения той роли, которую назначили ему советские руководители. Сталин, возможно, имел смутные предчувствия относительно истинного соотношения сил и потому отреагировал на американское наращивание военного потенциала в период Корейской войны «мирной нотой» 1952 года. В переходный период после смерти Сталина его отчаявшиеся преемники ложно истолковали собственное выживание в отсутствие вызова извне как доказательство слабости Запада. И они тешили себя тем, что воспринимали как кардинальный советский прорыв в мир развивающихся стран. Хрущев и его преемники сделали вывод, что они сумеют переплюнуть тирана. Чем раскалывать капиталистический мир, что и было фундаментальной стратегией Сталина, они предпочитали одерживать над ним победу посредством ультиматумов по Берлину, размещения ракет на Кубе и авантюрного поведения на всем пространстве мира развивающихся стран. Эти усилия, однако, до такой степени превысили советские возможности, что превратили стагнацию в крах.

* * *

Развал коммунизма стал заметен уже во второй срок пребывания Рейгана на посту президента, а к тому моменту, как он покинул этот пост, стал необратим. Следует отдать должное президентам, предшествовавшим Рейгану, и его непосредственному преемнику Джорджу Бушу, который умело управлял развязкой. Тем не менее поворотным пунктом послужило именно пребывание Рейгана на посту президента.

Рейган вел себя потрясающе, а для ученых наблюдателей – уму непостижимо. Рейган почти не знал истории, а то немногое, что он знал, приспосабливал, подгоняя под предвзятые суждения, которых он твердо придерживался. Он рассматривал библейские ссылки на Армагеддон как оперативные инструкции. Множество любимых им исторических анекдотов не базировались на фактах в том смысле, как вообще понимается само слово «факт». Как-то в частной беседе он сравнил Горбачева с Бисмарком, утверждая,

что оба преодолели идентичное внутреннее сопротивление, уходя от централизованного планирования экономики в мир свободного рынка. Я посоветовал нашему общему другу предупредить Рейгана, чтобы он никогда не сообщал столь нелепого умозаключения германским собеседникам. Друг, однако, счел неразумным передавать это предупреждение, ибо оно бы лишь еще более глубоко врезало подобное сравнение в сознание Рейгана.

Подробности внешнеполитической деятельности Рейгана утомляли. Он усвоил несколько основополагающих идей относительно опасностей умиротворения, зол коммунизма и величия собственной страны, но анализ существенно важных проблем был ему не под силу. Все это послужило для меня поводом к замечанию, сделанному, как мне казалось, вне протокола в обществе собравшихся на конференцию историков в помещении Библиотеки Конгресса: «Когда вы разговариваете с Рейганом, то иногда удивляетесь, почему кому-то могло прийти в голову, что он может быть президентом или даже губернатором. Но тогда именно вам, историкам, следует объяснить, как столь неинтеллектуальный человек мог управлять Калифорнией восемь лет, а Вашингтоном уже почти семь».

Средства массовой информации стали охотно пережевывать лишь первую часть моего заявления. Однако для историка вторая гораздо более интересна. С учетом всего сказанного и сделанного президент при самой что ни на есть неглубокой академической подготовке сумел разработать внешнюю политику исключительной содержательности и целенаправленности. Да, у Рейгана, возможно, было всего лишь несколько основных идей, но они-то как раз оказались стержневыми внешнеполитическими проблемами того периода. Это доказывает, что ключевыми качествами руководителя являются чувство выбора направления и крепость собственных убеждений. Вопрос о том, кто составлял для Рейгана заявления по внешнеполитическим вопросам – а ни один президент сам их не сочиняет, – почти не имеет отношения к делу. Бытует предание, будто бы Рейган был орудием тех, кто писал ему речи, но подобные иллюзии характерны для большинства работников такого рода. Но в конце концов, ведь именно сам Рейган отбирал себе людей, которые мастерили ему речи, а он произносил их с исключительной убежденностью и убедительностью. Знакомство с Рейганом не оставляет никаких сомнений в том, что эти речи отражали его личные взгляды и что по некоторым вопросам, к примеру, в отношении «стратегической оборонной инициативы», он был значительно впереди собственного окружения.

* * *

В американской системе управления, где президент является единственным общенационально избираемым официальным лицом, стыковка внешнеполитических направлений проистекает – если таковая вообще наличествует – из президентских заявлений. Они являются наиболее исчерпывающей директивой для расползшейся самодовольной бюрократии и предметом дебатов в обществе и в Конгрессе. Рейган выдвинул внешнеполитическую доктрину, в величайшей степени взаимоувязанную и обладающую значительной интеллектуальной мощью. Он обладал исключительным интуитивным настроем на глубинные источники американской мотивации. Одновременно он осознавал изначальную хрупкость советской системы, а его проницательность шла вразрез с мнением большинства экспертов, даже в его собственном консервативном лагере.

Рейган обладал незаурядным талантом объединять американский народ. И сам являлся необычайно милой и неподдельно добродушной личностью. Даже жертвы его риторики с огромным трудом могли отыскать что-то, направленное против них лично. Он доводил меня до белого каления, когда ему не удалось выставить свою кандидатуру на президентских выборах 1976 года, но я не мог долго на него сердиться, несмотря на то, что, будучи советником по вопросам национальной безопасности, консультировал его в течение многих лет без единого протеста с его стороны относительно той самой политики, на которую он нападал. Когда все уже было позади, я вспоминал не предсъездовскую риторику, но сочетание здравого смысла с буквально сказочной доброй волей Рейгана во время консультаций. Во время ближневосточной войны 1973 года я сообщил ему, что мы возместим Израилю все потери в авиации, но вопрос в том, как обуздать реакцию арабов. «А почему бы вам не заявить, что вы возместите все то число самолетов, которое было сбито согласно заявлениям арабов?» – предложил Рейган, поскольку такое предложение обернуло бы беспредельно раздутые пропагандистские заявления арабов против их авторов.

Внешнее добродушие Рейгана скрывало под собой невероятно сложную личность. Он был одновременно близок всем по духу и от всех далек, любитель разделить общее веселье, но в итоге настороженный одиночка. Светскость служила ему способом сохранять дистанцию между собой и всеми прочими. Если он отнесется ко всем одинаково дружелюбно и будет угощать всех одними и теми же историями, никто не сможет претендовать на особые отношения с ним. Запас анекдотов, которые пускались в

обращение от беседы к беседе, защищал от односторонности и политической слепоты. Как и многие актеры, Рейган был квинтэссенцией одинокой личности – столь же очаровательной, сколь и эгоцентричной. Один человек, который, как многие полагали, находился в доверительных с ним отношениях, сказал как-то мне, что Рейган одновременно самый дружелюбный и самый далекий из всех людей, с кем ему доводилось встречаться.

* * *

Рейган отвергал «комплекс вины», отождествляемый им с администрацией Картера, и гордо защищал достижения Америки как «величайшей силы, действующей в пользу мира во всех местах нынешнего мира». На своей первой же пресс-конференции он заклеймил Советский Союз как империю разбоя, готовую «совершить любое преступление, солгать, смошенничать», чтобы добиться своих целей. Это было предтечей заявления 1983 года, в котором Советский Союз именуется «империей зла», то есть предтечей прямого морального вызова, от которого отшатнулись бы все предшественники президента. Рейган пренебрег общепринятой дипломатической мудростью и пошел на сознательное упрощение сущности американских добродетелей, взяв на себя миссию убедить американский народ в том, что идеологический конфликт между Востоком и Западом значим и реален. Борьба на международной арене ведется по поводу того, кто будет победителем, а кто побежденным, и никто не задается вопросом, кто сохранит свое могущество и кто окажется лучшим дипломатом.

Риторика первого срока пребывания Рейгана на посту президента означала официальное окончание периода разрядки. Целью Америки становилось уже не ослабление напряженности, но крестовый поход и обращение противника в свою веру. Рейган был избран, как многообещающий носитель воинствующего антикоммунизма, и остался верен этому до конца. Оказавшись в счастливом положении, когда упадок Советского Союза все более ускорялся, он отверг, как нечто весьма относительное, упор Никсона на национальные интересы и отказался от сдержанности Картера, как чересчур пораженческой по сути. Вместо этого Рейган выступил с апокалиптическим видением конфликта, становящегося более терпимым вследствие исторической неизбежности его итога. В речи на Королевской галерее палаты лордов в Лондоне в июне 1982 года он так описывал ситуацию в Советском Союзе:

«В ироническом смысле Карл Маркс был прав. Мы сегодня являемся свидетелями гигантского революционного кризиса, кризиса, где требования экономического порядка находятся в прямом противоречии с требованиями политического порядка. Однако кризис этот происходит не на свободном, немарксистском Западе, а дома у марксизма-ленинизма, в Советском Союзе…

Сверхцентрализованная, обладающая ничтожными стимулами или вовсе ими не обладающая, советская система направляет большую часть самых ценных своих ресурсов на изготовление орудий разрушения. Постоянное падение показателей экономического роста наряду с ростом военного производства налагают тяжкое бремя на советский народ.

То, что мы видим, представляет собой политическую надстройку, более не соответствующую экономическому базису, общество, где производительные силы наталкиваются на препятствия со стороны сил политических».

Рейган полагал, что отношения с Советским Союзом улучшатся от разделенного с Америкой страха перед ядерным Армагеддоном. Он был преисполнен решимости довести до сведения Кремля весь риск непрекращающегося экспансионизма. Десятилетием ранее подобная риторика была чревата выходом из-под контроля внутриамериканского движения гражданского неповиновения и могла привести к конфронтации со все еще уверенным в себе Советским Союзом; десятилетием позднее она бы воспринималась как безнадежно устаревшая. В обстановке 80-х годов она закладывала фундамент беспрецедентного диалога между Востоком и Западом.

* * *

В 1981 году, во время выздоровления после покушения, Рейган направил Леониду Брежневу письмо, написанное от руки, где пытался развеять советскую подозрительность по отношению к Соединенным Штатам, – как будто семьдесят пять лет господства коммунистической идеологии могут быть устранены личным обращением. Это почти дословно соответствовало заверениям, которые в конце Второй мировой войны Трумэн предоставил Сталину:

«Часто делаются намеки на то… что мы вынашиваем империалистические планы и потому представляем собой угрозу как вашей собственной безопасности, так и безопасности вновь нарождающихся наций. Но не только не существует доказательств, подкрепляющих это обвинение, а, напротив,

имеются весомые доказательства того, что Соединенные Штаты, в то время как они могли бы господствовать над миром без всякого для себя риска, не делают ни малейших усилий в этом направлении… Да будет мне позволено заявить, нет абсолютно никакого основания для того, чтобы обвинять Соединенные Штаты в империализме или попытках навязать свою волю другим странам посредством применения силы…

Господин Президент, неужели нам, нашим народам, которые представляете вы и которые представляю я, не следует заняться устранением препятствий, мешающих осуществлению самых сокровенных устремлений?»

Как совместить умиротворяющий тон письма, автор которого явно полагает, что вполне можно доверять адресату, с заявлением Рейгана, сделанным всего лишь за несколько недель до направления этого письма, что советские руководители способны на любое преступление? Рейган не ощущал необходимости объяснять столь очевидное несоответствие, возможно потому, что глубоко верил в истинность обоих своих заявлений: в зло советского поведения и одновременно в возможность идеологического обращения советских лидеров.

А затем, после смерти Брежнева в ноябре 1982 года, Рейган направил написанную от руки ноту – 11 июля 1983 года – преемнику Брежнева, Юрию Андропову, вновь опровергая наличие у Америки каких бы то ни было агрессивных устремлений. Когда Андропов вскоре умер, а на его место пришел пожилой и немощный Константин Черненко (явно промежуточное назначение), Рейган сделал такую запись в дневнике, бесспорно предназначенном для публикаций:

«У меня какое-то подспудное чувство, что мне стоило бы переговорить с ним о наших проблемах, как мужчина с мужчиной, и посмотреть, удастся ли убедить его. Мне кажется, что Советы обретут материальную выгоду, если они присоединятся к семье наций, и т. д.».

Через шесть месяцев, 28 сентября 1984 года, Громыко нанес свой первый визит в Белый дом в период деятельности администрации Рейгана. И вновь Рейган делает запись в дневнике – в том смысле, что первейшей его задачей является устранение у советских руководителей подозрительности по отношению к Соединенным Штатам:

«Меня одолевает чувство, что, пока они будут так же подозрительно относиться к нашим мотивам, как и мы – к их, с сокращением вооружений продвинуться невозможно. Я полагаю, что нам необходимо встретиться и как-то дать им понять, что у нас нет никаких враждебных замыслов в их отношении, но зато

мы думаем, что у них имеются такие замыслы в отношении нас».

Коль скоро на протяжении жизни двух поколений поведение Советов было обусловлено подозрительностью к Соединенным Штатам, Рейган мог бы сделать вывод, что это чувство является органичным и неотъемлемым для советской системы. Пылкая надежда – особенно у столь откровенного антикоммуниста – на то, что советскую настороженность можно устранить одной-единственной беседой с министром иностранных дел (который, кроме всего прочего, лично представлял собой квинтэссенцию коммунистического правления), поддается объяснению лишь в свете непобедимой американской убежденности в том, что взаимопонимание между людьми – вещь нормальная, а напряженность представляет собой аберрацию, причем доверие может быть достигнуто самоотверженной демонстрацией доброй воли.

И потому случилось так, что Рейган, воплощение гнева Божьего, направленного на коммунизм, не видел ничего странного в том, чтобы так описывать вечер перед первой встречей с Горбачевым в 1985 году и состояние нервозного ожидания в надежде, что встреча разрешит конфликт, существующий на протяжении жизни двух поколений, – отношение, не свойственное Ричарду Никсону и скорее характерное для Джимми Картера:

«Еще во времена Брежнева я мечтал о встрече с глазу на глаз с советским руководителем, поскольку полагал, что таким образом можно осуществить то, чего не в состоянии сделать наши дипломаты, поскольку у них нет достаточной власти. Иными словами, я чувствовал, что, если переговоры ведут те, кто на самом верху, и если имеет место личная встреча на высшем уровне, и затем двое участников встречи выходят, держась за руки, и говорят: „Мы договорились о том-то и том-то», – бюрократы уже не в состоянии испоганить договоренность. До Горбачева я не имел возможности проверить эту идею. Теперь у меня появился шанс».

Биограф Рейгана описывает одно из его «мечтаний», которое лично высказывалось и при мне:

«Одной из фантазий Рональда Рейгана как президента было то, как он возьмет с собой Михаила Горбачева и покажет ему Соединенные Штаты. Пусть советский руководитель увидит, как живет рядовой американец. Рейган часто говорил об этом. Он представлял себе, как они с Горбачевым полетят на вертолете над рабочим поселком, увидят завод и автостоянку при нем, забитую машинами, а затем сделают круг над жилым районом, расположенным в живописной местности, где у заводских

рабочих есть дома «с лужайками и задними дворами, где, возможно, на подъездной дорожке стоит вторая машина или лодка, – дома, непохожие на бетонные крольчатники, которые я видел в Москве». Вертолет снизился бы, и Рейган пригласил бы Горбачева постучаться в двери и спросить жителей поселка, „что они думают о нашей системе». А рабочие рассказали бы ему, до чего чудесно жить в Америке».

Рейган искренне верил, что его долгом является ускорить неизбежное осознание Горбачевым или любым другим советским лидером того факта, что коммунистическая философия ошибочна и что стоит только прояснить ложность советских концепций относительно истинного характера Америки, как вскорости наступит эра примирения. В этом смысле, несмотря на все свое идеологическое рвение, точка зрения Рейгана на сущность международного конфликта оставалась строго американско-утопической. Поскольку он не верил в наличие непримиримых национальных интересов, то не мог признать существование неразрешимых конфликтов между нациями. И считал, что, как только советские лидеры переменят свои идеологические воззрения, мир будет избавлен от споров, характерных для классической дипломатии. При этом он не видел промежуточных стадий между перманентным конфликтом и вечным примирением.

* * *

Со времени инаугурации Рейгана одновременно преследовали две цели: противодействие советскому геополитическому давлению, пока процесс экспансионизма не будет вначале остановлен, а затем обращен вспять; и, во-вторых, развертывание программы перевооружения, предназначенной для того, чтобы пресечь советское стремление к стратегическому превосходству и добиться стратегической лабильности.

Идеологическим инструментом перемены ролей был вопрос прав человека, которым Рейган и его советники воспользовались, чтобы подорвать советскую систему. Конечно, его непосредственные предшественники также утверждали важность прав человека. Никсон действовал подобным образом применительно к эмиграции из Советского Союза. Форд совершил самый крупный прорыв посредством «третьей корзины» соглашений Хельсинки. Картер сделал права человека альфой и омегой своей внешней политики и пропагандировал их столь интенсивно применительно к американским союзникам, что его

призыв к праведности то и дело угрожал внутреннему единству в этих странах.

Рейган и его советники сделали еще один шаг и стали трактовать права человека как орудие ниспровержения коммунизма и демократизации Советского Союза, что явилось бы ключом ко всеобщему миру, как подчеркивал Рейган в послании «О положении в стране», от 25 января 1984 года: «Правительства, опирающиеся на согласие управляемых, не затевают войны со своими соседями». В Вестминстере в 1982 году Рейган, приветствуя волну демократии, разливающуюся по всему миру, обратился к свободным нациям с призывом «…укреплять инфраструктуру демократии, систему свободной прессы, профсоюзы, политические партии, университеты, что позволяет людям выбирать свой собственный путь, развивать свою собственную культуру, разрешать свои собственные разногласия мирными средствами».

Призыв совершенствовать демократию у себя дома явился прелюдией к классической теме: «Если концу нынешнего столетия суждено быть свидетелем постепенного развития свободы и демократических идеалов, мы должны принять меры, чтобы оказать содействие кампании за демократию». Таким образом, команда Рейгана перевернула вверх ногами призывы времен раннего большевизма: не ценности «Коммунистического манифеста», но демократические ценности грядут, определяя собою будущее…

Задачей рейгановского геостратегического натиска было дать понять Советам, что они перенапряглись. Отвергая доктрину Брежнева относительно необратимости коммунистических достижений, Рейган своей стратегией отразил убежденность в том, что коммунизм может быть побежден, а не только сдержан. Рейгану удалось добиться отмены поправки Кларка, не позволявшей Америке оказывать помощь антикоммунистическим силам в Анголе, резкого усиления поддержки антисоветских афганских партизан, разработки крупномасштабной программы противостояния коммунистическим партизанам в Центральной Америке и даже предоставления гуманитарной помощи Камбодже. Это стало замечательной наградой единению американского общества: не прошло и пяти лет с момента катастрофы в Индокитае, как преисполненный решимости президент вступает в схватку со всемирной советской экспансией, причем на этот раз добивается успеха.

Было сведено на нет большинство советских политических достижений 70-х годов, хотя отдельные из событий приходятся уже на период деятельности администрации Буша. Вьетнамская

оккупация Камбоджи завершилась в 1990 году, а в 1993 году прошли выборы и беженцы стали готовиться к возвращению домой; в 1991 году завершился вывод кубинских войск из Анголы; поддерживаемое коммунистами правительство Эфиопии рухнуло в 1991 году; в 1990 году сандинисты в Никарагуа были вынуждены смириться с проведением свободных выборов – на подобный риск до того не готова была пойти ни одна правящая коммунистическая партия; и возможно, самым главным был вывод советских войск из Афганистана в 1989 году.

Все эти события заметно умерили идеологические и геополитические амбиции коммунизма. Наблюдая за упадком советского влияния в так называемом «третьем мире», советские реформаторы стали вскоре ссылаться на дорогостоящие и никчемные брежневские авантюры как на доказательство банкротства коммунистической системы, в которой, как они полагали, следовало срочно пересмотреть недемократический стиль принятия решений.

* * *

Администрация Рейгана добилась этих успехов, применяя на практике то, что потом стало именоваться «доктриной Рейгана»: оказание помощи Соединенными Штатами антикоммунистическим антизаговорщическим силам, выводящим свои страны из советской сферы влияния. Такой помощью были вооружение афганских моджахедов в их борьбе с русскими, поддержка «контрас» в Никарагуа и антикоммунистических сил в Эфиопии и Анголе. На протяжении 60 – 70-х годов Советы занимались подстрекательством коммунистических восстаний против правительств, дружественно настроенных к Соединенным Штатам. Теперь, в 80-е годы, Америка давала попробовать Советам прописанное ими же лекарство. Государственный секретарь Джордж Шульц разъяснил эту концепцию в речи, произнесенной в Сан-Франциско в феврале 1985 года:

«В течение многих лет мы наблюдали, как наши оппоненты без всякого стеснения поддерживали инсургентов по всему миру, чтобы распространять коммунистические диктатуры… Сегодня, однако, советская империя ослабевает под давлением собственных внутренних проблем и внешних обязательств… Силы демократии во всем мире ценят наше с ними единение. Оставить их на произвол судьбы было бы постыдным предательством – предательством не только по отношению к храбрым мужчинам и женщинам, но и по отношению к самым высоким нашим

идеалам».

Наиболее фундаментальным вызовом Рейгана Советскому Союзу явилось наращивание вооружений. Во всех своих избирательных кампаниях Рейган осуждал недостаточность американских оборонных усилий и предупреждал о надвигающемся советском превосходстве. Сегодня мы знаем, что эти опасения отражали чересчур упрощенный подход к характеру военного превосходства в ядерный век. Но независимо от точности проникновения Рейгана в сущность советской военной угрозы, ему удалось мобилизовать и привлечь на свою сторону консервативный круг избирателей в гораздо большей степени, чем Никсону при помощи демонстрации геополитических опасностей.

До начала деятельности администрации Рейгана стандартным аргументом радикального осуждения политики «холодной войны» являлся тот довод, что наращивание вооружений будто бы бессмысленно, поскольку Советы всегда и на любом уровне найдут ответ американским усилиям. Это оказалось еще более неточным, чем предсказание неминуемого советского превосходства. Масштаб и темпы американского наращивания вооружений при Рейгане вновь оживили сомнения, уже одолевавшие умы советского руководства в результате катастроф в Афганистане и Африке: могут ли они выдержать гонку вооружений в экономическом плане и – что еще более важно – могут ли они ее обеспечить в плане технологическом.

Рейган вернулся к системам вооружений, отвергнутым администрацией Картера, таким, как бомбардировщик B-1, и начал развертывание ракет MX – первых новых межконтинентальных ракет наземного базирования за десятилетие. Два стратегических решения способствовали больше всего окончанию «холодной войны»: развертывание силами НАТО американских ракет средней дальности в Европе и принятие на себя Америкой обязательств по разработке системы «стратегической оборонной инициативы» (СОИ).

* * *

Решение НАТО о развертывании ракет среднего радиуса действия (порядка 1500 миль) в Европе относится еще ко временам администрации Картера. Целью его было успокоить западногерманского канцлера Гельмута Шмидта в связи с односторонним отказом Америки от так называемой нейтронной бомбы, запроектированной таким образом, чтобы сделать

ядерную войну менее разрушительной, причем Шмидт поддерживал этот проект, несмотря на оппозицию со стороны собственной социал-демократической партии. Но на деле вооружение среднего радиуса действия (частично баллистические ракеты, частично запускаемые с земли крейсирующие ракеты) были предназначены для решения военной проблемы иного характера: противодействия значительному количеству новых советских ракет (СС-20), способных достичь любой из европейских целей из глубины советской территории. В сущности, доводы в пользу вооружений среднего радиуса действия были политическими, а не стратегическими и проистекали из той же самой озабоченности, которая двадцать лет назад породила дебаты между союзниками по вопросам стратегии; на этот раз, однако, Америка постаралась развеять европейские страхи.

В упрощенном смысле вопрос вновь стоял о том, может ли Западная Европа рассчитывать на ядерное оружие Соединенных Штатов в деле отражения советского нападения, имеющего своей целью Европу. Если бы европейские союзники Америки действительно верили в ее готовность прибегнуть к ядерному возмездию при помощи оружия, расположенного в континентальной части Соединенных Штатов или морского базирования, новые ракеты на европейской земле оказались бы ненужными. Но решимость Америки поступать подобным образом как раз и ставилась европейскими лидерами под сомнение. Со своей стороны, американские руководители имели собственные причины успокоительно ответить на опасения европейцев. Это являлось частью стратегии «гибкого реагирования» и давало возможность избирать промежуточные варианты между войной всеобщего характера, нацеленной на Америку, и уступкой советскому ядерному шантажу.

Существовало, конечно, и более замысловатое объяснение, чем просто сублимированное взаимное недоверие участников Атлантического партнерства. И оно сводилось к тому, что новое оружие поначалу будто бы объединяло стратегическую защиту Европы со стратегической защитой Соединенных Штатов. Утверждалось, что Советский Союз не совершит нападения обычными силами до тех пор, пока не постарается уничтожить ракеты средней дальности в Европе, которые, благодаря близости расположения и точности попадания, могут вывести из строя советские командные центры, что позволит американским стратегическим силам беспрепятственно нанести всесокрушающий первый удар.

С другой стороны, нападать на американские ракеты средней

дальности, оставляя американские силы возмездия нетронутыми, было бы также чересчур рискованно. Достаточное количество ракет средней дальности могло уцелеть и нанести серьезный урон, давая возможность находящимся в целости и сохранности американским силам возмездия выступить в роли арбитра происходящего. Таким образом, ракеты среднего радиуса действия закрывали бы пробел в системе «устрашения». На техническом жаргоне того времени оборона Европы и Соединенных Штатов оказывались «в связке»: Советский Союз лишался возможности нападать на любую из этих территорий, не порождая риск неприемлемой для него ядерной войны всеобщего характера.

Эта «связка» также являлась ответом на растущие страхи перед германским нейтрализмом по всей Европе, особенно во Франции. После поражения Шмидта в 1982 году социал-демократическая партия Германии, похоже, вернулась на позиции национализма и нейтрализма – причем до такой степени, что на выборах 1986 года один из ее лидеров, Оскар Лафонтен, утверждал, что Германии следует выйти из-под объединенного командования НАТО. Мощные демонстрации против развертывания ядерных ракет потрясали Федеративную Республику.

* * *

Почуяв возможность ослабить связь Германии с НАТО, Брежнев и его преемник Андропов сделали противостояние развертыванию ракет средней дальности стержнем советской внешней политики. В начале 1983 года Громыко посетил Бонн и предупредил, что Советы покинут Женевские переговоры по контролю над вооружениями, как только «першинги» прибудут в Западную Германию, – угроза, способная воспламенить германских сторонников протеста. Когда Коль посетил Кремль в июле 1983 года, Андропов предупредил германского канцлера, что, если он согласится на размещение «Першингов-2», «военная угроза для Западной Германии возрастет многократно. Отношения между нашими двумя странами также обязательно претерпят серьезные осложнения. Что касается немцев в Федеративной Республике Германии и в Германской Демократической Республике, им придется, как недавно кем-то было сказано (в «Правде»), глядеть друг на друга через плотный частокол ракет».

Московская пропагандистская машина развернула

крупномасштабную кампанию в каждой из европейских стран. Массовые демонстрации, организованные различными группами сторонников мира, требовали, чтобы первоочередной задачей считалось разоружение, а не развертывание новых ракет, и чтобы немедленно был введен ядерный мораторий.

Как только казалось, что Германия поддается искушениям нейтрализма, что, в понимании Франции, означало национализм, французские президенты старались сделать максимально привлекательной для Бонна идею европейского или атлантического единства. В 60-е годы де Голль был бескомпромиссным сторонником германской точки зрения по Берлину. В 1983 году Миттеран неожиданно выступил в роли главного европейского сторонника американского плана развертывания ракет средней дальности. Миттеран защищал этот ракетный план в Германии. «Любой, кто играет в отделение Европейского континента от Американского, способен, по нашему мнению, разрушить равновесие сил и, следовательно, помешать сохранению мира», – заявил Миттеран в германском бундестаге. Совершенно ясно, что для президента Франции французские национальные интересы, связанные с размещением в Германии ракет средней дальности, оказались превыше идеологической общности между французскими социалистами и их братьями – германскими социал-демократами.

Рейган выступил с собственным планом отражения советского дипломатического натиска и предложил в обмен на отказ от развертывания американских ракет средней дальности демонтировать советские СС-20. Поскольку СС-20 явились скорее предлогом для развертывания американских ракет, чем его причиной, то это предложение порождало острейшие вопросы относительно «разрыва связки» между оборонительными системами Европы и Соединенных Штатов. Однако, хотя аргументы в пользу «связки» были весьма профессионально-замысловатыми, предложение относительно ликвидации целой категории вооружений было понять нетрудно. И поскольку Советы переоценили свои возможности и отказались обсуждать какую бы то ни было часть предложения Рейгана, так называемый «нулевой вариант» облегчил европейским правительствам процесс развертывания ракет. Это была убедительная победа для Рейгана и германского канцлера Гельмута Коля, который безоговорочно поддерживал американский план. И это доказало, что неустойчивое советское руководство теряет способность запугивать Западную Европу.

Развертывание ракет средней дальности совершенствовало стратегию «устрашения»; но когда 23 марта 1983 года Рейган

объявил о своем намерении разработать стратегическую оборону от советских ракет, он уже угрожал стратегическим прорывом: «… Я обращаюсь к научному сообществу нашей страны, к тем, кто дал нам ядерное оружие, чтобы они обратили теперь свой великий талант на дело выживания человечества и всеобщего мира: дали нам средства сделать это ядерное оружие бессильным и устаревшим»«.

Эти последние слова «бессильным и устаревшим», должно быть, бросили Кремль в холодную дрожь. Советский ядерный арсенал являлся ключевым элементом статуса Советского Союза как сверхдержавы. В течение двадцати лет пребывания Брежнева у власти основной целью СССР было достижение стратегического паритета с Соединенными Штатами. Теперь при помощи одного-единственного технологического хода Рейган предлагал стереть с лица земли все, ради чего Советский Союз довел себя до банкротства.

Если призыв Рейгана создать стопроцентно эффективную систему обороны хотя бы приблизится к воплощению в реальность, фактом станет американское стратегическое превосходство. Следовательно, американский первый удар обязательно увенчается успехом, поскольку оборонительная система сумеет сдержать относительно малые и дезорганизованные советские ракетные силы, уцелевшие к этому моменту. Как минимум, провозглашение Рейганом программы СОИ уведомило советское руководство, что гонка вооружений, которую они столь отчаянно начали в 60-е годы, либо полностью поглотит их ресурсы, либо приведет к американскому стратегическому прорыву.

* * *

Рейган превратил то, что прежде было бегом на марафонскую дистанцию, в спринт. Его конфронтационный стиль, граничащий с рисковой дипломатией, возможно, сработал бы в самом начале «холодной войны», когда еще не консолидировались обе сферы интересов, или сразу же после смерти Сталина. Именно на такого рода дипломатии настаивал, в сущности, Черчилль, когда вернулся на свой пост в 1951 году. Но как только раздел Европы был упрочен, а Советский Союз все еще чувствовал себя уверенно, попытка силой навязать урегулирование наверняка вызвала бы крупномасштабный раскол в Атлантическом союзе и привнесла бы в него сильнейшую напряженность; большинство же членов его не желали ненужных испытаний на прочность. В 80-е годы

советская стагнация сделала наступательную стратегию вновь возможной. Заметил ли Рейган степень дезинтеграции Советов, или его своеволие наложилось на благоприятные обстоятельства?

В конце концов, не важно, действовал ли Рейган инстинктивно или в результате анализа. К концу пребывания Рейгана на посту президента повестка дня переговоров между Востоком и Западом вернулась ко временам разрядки. Вновь контроль над вооружениями стал центральной темой переговоров между Востоком и Западом, хотя больший упор стал делаться на сокращение вооружений и появилась большая готовность к устранению целых классов вооружений.

Что касается региональных конфликтов, то тут Советский Союз выступал в роли обороняющейся стороны и лишился в значительной степени своих способностей быть инициатором беспорядков. А раз уменьшалась степень озабоченности вопросами безопасности, то по обеим сторонам Атлантики стал расти национализм, хотя по-прежнему провозглашалось единство среди союзников. Америка во все большей и большей степени стала полагаться на оружие, размещенное на собственной территории или имеющее морское базирование, в то время как Европа расширяла проработку политических вариантов, связанных с Востоком. Но в итоге эти негативные тенденции были перекрыты крахом коммунизма.

Радикальнее всего переменилось то, как политические взаимоотношения между Востоком и Западом стали представляться американской общественности. Рейган инстинктивно накладывал друг на друга идеологический крестовый поход и утопическое стремление ко всеобщему миру, прослаивая их жесткой геостратегической политикой периода «холодной войны», что одновременно импонировало двум основным направлениям американской общественной мысли в области внешней политики – миссионерскому и изоляционистскому, «теологическому» и «психиатрическому».

На деле Рейган был ближе, чем Никсон, к классическим схемам американского мышления. Никсон никогда бы не использовал по отношению к Советскому Союзу выражения «империя зла», но он также никогда бы не предложил ему полного отказа от всего ядерного оружия и не ожидал бы, что «холодная война» может кончиться путем грандиозного личного примирения с советскими руководителями во время одной-единственной встречи. Идеологические устремления Рейгана служили ему защитой, когда он позволял себе наполовину пацифистские высказывания, за которые поносили бы президента-либерала. А его преданность делу улучшения отношений между

Востоком и Западом, особенно в период второго срока пребывания на посту, наряду с достигнутыми им успехами, смягчали остроту его воинственной риторики. Остается сомнительным, сумел бы Рейган и далее до бесконечности балансировать на канате, если бы Советский Союз продолжал оставаться крупномасштабным соперником. Но второй срок пребывания Рейгана на посту президента совпал с началом распада коммунистической системы – процессом, ускоряемым политикой его администрации.

Горбачев

Михаил Горбачев, седьмой по счету высший советский руководитель начиная от Ленина, вырос в Советском Союзе, обладавшем беспрецедентной мощью и престижем. И именно ему было суждено председательствовать при кончине империи, создание которой было оплачено столь большой кровью и растратой национального богатства.

Когда Горбачев пришел к власти в 1985 году, он был руководителем ядерной сверхдержавы, находящейся в состоянии экономического и социального застоя. Когда же он вынужден был уйти с занимаемой должности в 1991 году, Советская армия оказала поддержку его сопернику Борису Ельцину, Коммунистическая партия была объявлена вне закона, а империя, возводимая на крови всеми русскими правителями, начиная с Петра Великого, развалилась.

Этот крах показался бы фантастикой в марте 1985 года, когда Горбачев был миропомазан на должность Генерального секретаря. Как это имело место в момент прихода к власти любого из его предшественников, Горбачев внушал как страх, так и надежду. Надежду на поворот к давно ожидаемому миру и страх зловещий по сути, исходящий от страны, чей стиль руководства – загадка. Каждое слово Горбачева анализировалось в поисках намека на ослабление напряженности; в эмоциональном плане демократические страны были вполне готовы открыть в Горбачеве зарю новой эры, точно так же они вели себя со всеми его предшественниками после смерти Сталина.

Но на этот раз вера демократических стран оказалась не только набором благих пожеланий. Горбачев принадлежал к иному поколению, чем те советские руководители, чей дух был сломлен Сталиным. У него не было «тяжелой руки» прежних представителей «номенклатуры». В высшей степени интеллигентный и обходительный, он походил на несколько абстрактные фигуры из русских романов XIX века: космополитичный и провинциальный, интеллигентный, но несколько несобранный; проницательный, но лишенный понимания сути стоящего перед ним выбора.

Последовал едва слышный вздох облегчения: наконец как будто бы наступил долгожданный для внешнего мира и до того почти неуловимый момент советской идеологической трансформации. До самого конца 1991 года Горбачева считали в Вашингтоне до такой степени незаменимым партнером в строительстве нового мирового порядка, что президент Буш счел

украинский парламент, как невероятно бы это ни выглядело, подходящим для себя местом, чтобы именно на этом форуме превознести до небес достоинства данного советского руководителя и заявить о важности сохранения единого Советского Союза. Удержание Горбачева у власти превратилось в основную цель западных политиков, убежденных в том, что с любым другим будет гораздо труднее иметь дело. Во время странного, по видимости антигорбачевского, путча в августе 1991 года все лидеры демократических стран сплотились на стороне «законности» в поддержку коммунистической конституции, поставившей Горбачева у власти.

Но высокая политика не делает скидок на слабость – даже если сама жертва тут ни при чем. Загадочность Горбачева достигла предела, когда он выступил в роли лидера-умиротворителя идеологически агрессивного, вооруженного ядерным оружием Советского Союза. Но когда политика Горбачева стала скорее отражением растерянности, чем конкретно поставленной цели, положение его пошатнулось. Через пять месяцев после провалившегося коммунистического путча он вынужден был уйти и уступить Ельцину посредством процедуры столь же «незаконной», как и та, что вызвала гнев Запада пять месяцев назад. На этот раз демократические страны быстро сплотились вокруг Ельцина, приводя в поддержку своих действий практически те же доводы, которыми пользовались некоторое время назад применительно к Горбачеву. Игнорируемый окружающим миром, который только что им восторгался, Горбачев вошел в зарезервированный для потерпевших крушение государственных деятелей круг прижизненно загробного бытия, преследуя цели, находящиеся за пределами их возможностей. Горбачев, однако, осуществил одну из самых значительных революций своего времени. Он разрушил Коммунистическую партию, специально созданную для захвата и удержания власти и на деле контролировавшую все аспекты советской жизни.

После своего ухода Горбачев оставил за собой поколебленные остатки империи, напряженно собиравшейся веками. Организовавшиеся независимые государства, все еще боящиеся российской ностальгии по прежней империи, превратились в новые очаги нестабильности. Они испытывали угрозу одновременно со стороны своих прежних имперских хозяев и осколков различных некоренных этнических групп – часто именно русских, – возникших здесь за века русского господства.

Ни одного из этих результатов Горбачев даже отдаленно не предвидел. Он хотел добиться своими действиями модернизации, а не свободы; он попытался приспособить Коммунистическую

партию к окружающему миру; а вместо этого оказался церемониймейстером краха той самой системы, которая его сформировала и которой он был обязан своим возвышением.

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.